

OCR - Leon Dotan (08.2010)

<http://ldn-knigi.lib.ru> (ldn-knigi.narod.ru) (ldn-knigi@narod.ru)

(наши пояснения и дополнения - шрифт меньше, курсивом)

{X} - Номера страниц соответствуют началу страницы в книге.

В оригинале сноски находятся в конце соответствующей страницы, здесь - сразу за текстом!

Из книги на нашей странице:

**В. М. ЧЕРНОВ «В ПАРТИИ СОЦИАЛИСТОВ-РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ:
ВОСПОМИНАНИЯ О ВОСЬМИ ЛИДЕРАХ»**

С.-Петербург, 2007 г. (1000 экз.)

Публикация, вступительная статья, подготовка текста и комментарии –
А. П. Новиков и К. Хузер

Книга полностью – [DjVu- 4,3Mb](#) Фотографии из книги – [zip/jpg- 2,4Mb](#)

Из книги:

вступление – «Виктор Михайлович Чернов и его мемуары»,

глава первая – «Мои дороги и тропинки к еврейству» -

в формате [HTM – 135KB](#)

«В воспоминаниях В. М. Чернова представлена галерея образов видных деятелей партии социалистов-революционеров: М. А. Натансона, Х. О. Житловского, С. А. Ан-ского, И. А. Рубановича, М. Р. Гоца, Г. А. Гершуни, О. С. Минора и А. Р. Гоца.

Они позволяют воссоздать жизнь российской революционной эмиграции начала XX в., проследить историю образования партии социалистов-революционеров и деятельность ее заграничной организации.

Полностью на русском языке воспоминания о лидерах эсеровской партии публикуются впервые.»

ldn-knigi: на нашей стр. находится издание этой книги и на еврейском языке (идиш)

<http://ldn-knigi.lib.ru/JUDAICA/VTIdish/VTshIdish.htm>

ОГЛАВЛЕНИЕ
А. П. Новиков, К. Хузер.

Виктор Михайлович Чернов и его мемуары 3

**В ПАРТИИ СОЦИАЛИСТОВ-РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ:
ВОСПОМИНАНИЯ О ВОСЬМИ ЛИДЕРАХ**

Мои дороги и тропинки к еврейству	21
Натансон Марк Андреевич (1850—1919)	35
Житловский Хаим Осипович (1865—1943)	72
Ан-ский Семен Акимович (1863—1920)	112
Рубанович Илья Адольфович (1859—1922)	152
Гоц Михаил Рафаилович (1866—1906)	213
Гершуни Григорий Андреевич (1870—1908)	290
Минор Осип Соломонович (1861 — 1932)	349
Гоц Абрам Рафаилович (1882-1940)	371
Краткий биографический словарь	414

{152}

**РУБАНОВИЧ ИЛЬЯ АДОЛЬФОВИЧ
(1859—1922)**

(Idn-knigi: в статье также о предательстве (отступничестве) Льва Тихомирова)

Когда я впервые в 1900 году приехал в Париж, многочисленные новые знакомые обычно принимались меня расспрашивать: ну, что, успел ли я побывать во всех «святых местах» и поглядеть на все живые «иконны»? А один раз меня поставили в тупик вопросом: а наше новое светило — «француза из Одессы» — тоже уже видели?

Я не сразу сообразил, о ком идет речь. Оказалось, что этуо шутовую кличкой местные эмигранты наградили одного из влиятельнейших местных народовольцев — Элиаша или, в переложении на русский лад, Илью Адольфовича Рубановича.

Прошлая его революционная биография не была овееана особенным ореолом: безвестный выходец из России, он был обязан всем самому себе, своим личным дарованиям, развернутым им уже за границу. До этого он был причастен лишь к работе одесской народовольческой организации начала 80-х годов; арестовал его гремевший на всем юге России и прославившийся своею беспощадностью военный прокурор Стрельников (в конце того же десятилетия за эту беспощадность и его не пощадила рука террориста).

{153} Стрельников был вдобавок ко всему отъявленным антисемитом. Как прокурор, он открыто избрал себе девизом: «Лучше схватить и покарать десяток невинных, чем упустить одного виновного». Он уже давно собирался, согласно его собственному выражению, «смастерить большой политический процесс с чесночным запахом» и думал, что в Рубановиче нашел искомую центральную фигуру для такого процесса. Арестованный оказался, однако, «крепким орешком», на котором он поломал немало зубов. В довершение всего Рубанович, родившийся во Франции, по бумагам был французским гражданином. А в то время как раз

шла секретная подготовительная работа по налаживанию франко-русского союза, популярностью в передовых кругах французской общественности не пользовавшегося.

Чересчур ретивому военному прокурору было дано понять, что в такой момент «дразнить гусей», то есть шокировать общественное мнение Франции судебным скандалом, задевающим француза, — дело несвоевременное. И он, скрепя сердце, оставил свои широкие планы и выслал Рубановича из пределов Российской Империи — просто как «нежелательного иностранца»... Законченное келейным образом «дело Рубановича» до моих ушей в России вовсе не дошло. За границей же...

— Вы его не знаете просто потому, что он не теоретик, не литератор, — говорили мои местные друзья. — Зато какой оратор! Мы, парижане, не раз имели случай его оценить. А открыла его и отметила помазанием Исполнительного Комитета сама Марина Никаноровна Полонская.

Тут я, приезжий провинциал, вторично провалился: и это имя было для меня лишь «звук пустой»...

Товарищ Хаима Житловского по Союзу русских социалистов-революционеров за границей, записной остроумец, сочинитель многочисленных «крылатых словечек» Шарль (Хонон) Раппопорт пришел мне на выручку:

— Да нет, вы же просто запямятовали. вспомните-ка, я же вам сообщал, какой успех по всем эмигрантским колониям имело мое изречение: «В Париже есть „Группа старых народовольцев“, в которую входит много очень заслуженных, почтенных и популярных эмигрантов, но одна беда: во всей группе только и есть один настоящий мужчина, да и того зовут Марина Полонская!».

Это «крылатое словечко», возвеличившее Полонскую, чтобы принизить заграничных лидеров народовольчества, я в свое время действительно слышал, но оно просто затерялось в моей памяти среди других подобных, которые сыпались из уст «Шарля», как из рога изобилия. Я по опыту знал, что, кроме подобной игры слов, от него никакой более объективной информации о делах и лицах не получишь. За ней я обратился к его однофамильцу — уже известному {153} читателям моих воспоминаний «Семену Акимовичу» и по литературе — Ан-скому.

Великий шутник, он встретил мои вопросы, высоко воздев руки к небу и всем лицом своим изобразив комически-священный ужас:

— Ну, вот и начинай после этого дела с этими обомшелыми провинциальными русопетами! Как? И ты приехал в Париж, даже по именам не зная тех лиц, которые прославились в еще до сих пор не вполне отшумевшем деле об отступничестве Льва Тихомирова? Надеюсь, хоть это-то дело тебе известно?

— Но причем же тут Рубанович, и при чем неведомая мне Полонская?

— Это мне нравится! А на каком же деле Рубанович вырос в первоклассную величину, как не на своем, если можно так выразиться, политическом поединке с Тихомировым? Кто же, как не он, первый бросил ему перчатку и победоносно провел дело его разоблачения. Ну, а что до Марины Никаноровны Полонской... Раскрою тебе секрет, за ее недавнюю смертью уже переставший быть секретом. Под паспортом на это имя проживала здесь Мария Николаевна Ошанина, урожденная Оловенникова — последний действовавший на воле член знаменитого Исполнительного Комитета «Народной воли». Ведь она была, можно сказать, самой всероссийской революцией во плоти: одной из участниц еще кружка чайковцев, потом «Земли и воли», а в рядах этой последней — основной участницей первоначального, землевольческого, террористического Исполнительного Комитета. А знаешь ли ты, если бы

здесь не было ее, с ее исключительной авторитетностью, подкрепленной стремительной энергией и набатным сполохом нашего «француза из Одессы», кто знает, как обернулось бы все это дело? Чем черт не шутит! Неровен час, Тихомиров сумел бы воспользоваться тогдашней смутой в умах и вместо того, чтобы самому быть выброшенным за борт революции, еще отлучал бы, еще извергал бы из народовольческих рядов нашего брата, рядового революционера-эмигранта!

Эти речи мне было дико слушать. До нас, младшей генерации революционеров, «девяностников», могли доходить в Россию лишь самые смутные и отрывочные слухи о всех тех эмигрантских столкновениях, отпадениях, взаимооблечениях и взаимоотлучениях, которыми было богато то упадочное время. Между «ними» и «нами» уже тогда был своего рода «железный занавес» — правда, царской фабрикации, проржавевший от времени, но еще крепко державшийся. Нам известно стало лишь одно: человек блестящей революционной репутации, друг Желябова и Александра Михайлова, да еще, по слухам, жених Софьи Перовской, Лев Тихомиров «сжег» все, чему поклонялся, и поклонился всему, что «сжигал»: публично отрекся от революции и через посредничество прослывшего «победителем „Народной воли“» фон Плеве и презренного обер-шпиона из {155} провокаторов Рачковского припал с мольбой о помиловании «к стопам обожаемого монарха»...

С этой сенсацией в России долго и злорадно носились все завзятые реакционеры; а мы, зеленые революционные юнцы из кончающих гимназистов и начинающих студентов, могли лишь бессильно кусать себе губы и переживать эту черную весть, как горькое личное несчастье...

Иные из людей старшего поколения пробовали уверить и самих себя и нас, что отступничество преобразило Тихомирова до неузнаваемости, что реакция в нем ровно ничего не выигрывает, а революция — ничего не теряет. «Когда-то он то и дело менял псевдонимы, и все его перо узнавали, — говорил в Дерпте мне, выпускному гимназисту, народоволец из „вечных студентов“ Эрнст. — А вот теперь под каждой статьей подписывается полным именем: „Лев Тихомиров“. И недаром: ну, кто бы иначе догадался, что „ее лев, а не собака!“» Мы охотно повторяли эту фразу, но в глубине души она нас не успокаивала. Да, конечно, у Тихомирова более не было ни того подъема, ни того энтузиазма, которыми раньше согревались его статьи-манифесты и статьи-прокламации. Но свое красноречие в них было: язвительное, надо всем насмехавшееся, вносящее в молодые души отраву разочарованного во всем безверия. Помню, какой глубинный подкоп вел он под все, что было нам дорого, в своих «Социальных миражах современности», напечатанных в неореакционном журнале «Русское обозрение». («Русское обозрение» — журнал, издававшийся в Москве в 1890-1894 гг. на средства миллионера Д. Морозова и одновременно пользовавшийся благодаря покровительству Победоносцева правительственными субсидиями. Имел монархическую направленность).

До хрипоты спорили мы о ней, точнее, сообща яростно спорили с ней — и отрывались от нее с тяжелым сердцем и понуренными головами. Для нас и до этой статьи не оставалось никаких иллюзий относительно катастрофических размеров поражения, понесенного «Народною волею» лет за десять до того, как мы осознали себя ее будущей «сменою». Мы видели ее «эпигонов» — одни топили отчаяние в «сивушном малодушии», другие были близки к умопомешательству, третьи были разбиты унылым параличом воли. Мы могли, конечно, понять, что из натруженных, ослабевших рук могло немощно вывалиться когда-то высоко реявшее над головами знамя. Мы могли понять любой случай «несчастливого банкротства», а недаром говорится, что в какой-то мере «понять — значит простить».

Ну да, несчастного — но не злостного же! А тут был явный случай банкротства злостного. У нас пытались отнять все, в чем наша жизнь могла черпать свою осмысленность: все перспективы прогресса в свободе и свободы в прогрессе, все чаяния солидаризации межличностных и межнациональных отношений, все надежды на развитие вольной и

гармонической человеческой индивидуальности {156} и ее морального достоинства, одним словом, — «очеловечения человечества»!

И оставлялся один путь — назад, к добровольному холопству перед патриархальным примитивизмом миропомazanного единодержавия, к умственной спячке в чаду церковного ханжества, к обособляющему от человечества ревнивому и самовлюбленному национализму. (выделено нами, ldn-knigi)

Да будь этот отступник хоть тысячу раз прав в подрывной работе своей критики иллюзий — он скорее убедил бы нас в «высшей правде» самоубийства, чем в прелести возврата к «старым богам» зловещего прошлого, которому мы изрекли свой безапелляционный приговор.

Уезжая в 1899 году за границу, я влачил на себе тяжкий моральный груз: неразрешенную для нас «загадку Льва Тихомирова». А неведомо для нас тою же загадкою мучились — по ссылкам и тюрьмам — бывшие идейные друзья и боевые товарищи знаменитого отщепенца. И если Вера Фигнер разрешила ее восклицанием: «Он сошел с ума!», то Николай Морозов — загадочной фразой: «Этого от него всегда можно было ожидать»...

Читатель легко себе представит, с каким напряженным интересом шел я знакомиться с человеком, упорно разбивавшим и наконец разбившим за границей авторитет Льва Тихомирова, а также каким градом вопросов я его забросал.

Про внешнее впечатление, которое сразу произвел на меня новый знакомый, сразу хочется сказать: импозантное. Крупная, коренастая фигура, свидетельствующая о физической силе; энергичная осанка; в тоне, в жестах, во всех движениях — уверенная и спокойная твердость, свидетельствующая в то же время о большом темпераменте. Хорошо посаженная голова, окаймленная черною шевелюрою, волевой подбородок и хорошо очерченный лоб. В целом очень красивый еврейский тип, так и просящийся в модель для Саула или Бар-Кохбы, может быть, и для Самсона. По манерам — подлинный иностранец, и таков же он по всем приемам речи, тогда для меня еще новым: спрашивать о происхождении шуточной клички «француза из Одессы» не приходилось. У него был красивый и звучный голос, твердого металлического тембра, более всего пригодного для драматической приподнятости, рыцарственного оттенка. И мой вопрос Рубеновичу, в какой мере обязаны мы ему в деле разоблачения Тихомирова, он остановил с холодным достоинством:

— О нет, никакой в этом деле особенной заслуги мне признать за собой не приходится. Что, в сущности, представлял собою господин Долинский Василий Игнатьевич — как тогда именовал себя за границу Тихомиров? Странное и неприятное зрелище. Точно в ярких лучах прожектора, вся его фигура была залита светом, исходящим из его блестящего прошлого; но именно потому каждое его ложное движение резало глаз. А в нем все было неестественно, все — фальшиво. Его все еще многие находили блестящим человеком. {157} Ведь и мыльный пузырь в лучах яркого солнца может отливать всеми цветами радуги. Но проколите его, и он сразу лопнет, потому что под его красочной внешностью кроется пустота. В этом — весь Тихомиров. То, что сделал я, мог бы сделать не скажу всякий, но из квалифицированных революционеров-эмигрантов каждый второй человек.

— Почему же этого не сделал первый человек эмиграции — вы понимаете, что я разумею П. Л. Лаврова, к которому Тихомиров прямо и явился?

— Если бы вы знали Петра Лавровича так, как хотя бы знаю его я, вы ни на минуту даже и не поставили перед собою такого вопроса. Петр Лаврович — огромная величина, целый Монблан учености, четкой абстрактной мысли, редкой исследовательской

добросовестности — всего, чего хотите. Но ведь это — сущее дитя во всех вопросах житейской практики, включая сюда и стратегию революционной партии, и умение разбираться в людях. Вы увидите лично: он это знает сам и ни от кого не хочет скрывать. Есть у него еще одно свойство, в котором и его сила, и его слабость: это почти безграничная терпимость к уклонам чужой мысли, лишь бы они были искренни. Терпимость и снисходительность: он рад в людях все истолковывать в возможно наилучшую сторону. А если какие угодно уклоны он замечает в людях, явившихся из самой России, в людях, чей голос можно принять за живой рупор оставшихся на арене борьбы товарищей, то к ним он готов прислушиваться так, как будто каждое их слово — драгоценность.

Приехал Тихомиров. Честь и место Тихомирову! Перо ученого, выразился однажды Петр Лаврович, не может восстать против клинка революционера, хотя бы этот клинок и залежался в ножнах... Это он как раз Тихомирова и подразумевал...

— Пусть так, но ведь была же здесь и равная Тихомирову, так сказать, по революционному стажу фигура — я имею в виду Ошанину или Полонскую, как здесь она, кажется, называлась.

— Ах, Ошанина? Конечно, не она пассивно прилаживалась к Тихомирову, хоть многое ему и спускала, а он считался с ней и часто отступал перед ней. Она с самого приезда твердо вела свою линию. Это была умнейшая женщина. Умела жить своим собственным умом, скептическим и критическим, с оттенком, как бы вам сказать, тонкого утилитаризма или прагматизма, что ли. Слабые стороны Тихомирова она подмечала отлично; не отвергала и моих предостерегающих речей о «тихомировской опасности». Но считала, что ближе меня его знает и вернее понимает. «Тихомиров, — твердила она, — не может энергично работать без явных внешних успехов, ему надо греться в лучах партийного триумфа; будет у нас успех, и „тихомировская опасность“, так или эдак, но сама собою рассосется. А успеха не будет, — придется все равно сказать самим себе про Тихомирова: {158} был да весь вышел. И увы, не только про него одного...»

И приходила к выводу, что выжидательная тактика — единственное, что нам пока остается. Я преклонялся перед ее ясным умом, но понял: она слишком долго работала с Тихомировым рука об руку, как работали с ним Желябов и Михайлов, — слишком долго, чтобы взять на себя инициативу разрыва. И еще я понял: чтобы такую ответственность принять на свои плечи, необходим такой вот, как я, с ним ничем не связанный рядовой член партии, способный говорить от лица партийного народа, требующего у своих лидеров отчета, по завету: кому много дано, с того много и взыщется! И вот я заговорил. Заслуга? Не Бог весть какая! Заслуга в том, что я не спрятался за чужие спины. А между тем гипноз был нарушен, люди открыли глаза и, как в сказке Андерсена, сами увидели: а ведь король-то голый! Это и было началом конца этого «некоронованного короля народовольческой эмиграции». Вот и все!

— Могу я узнать, в чем же конкретно выразились его поступки, давшие вам ключ к «тихомировской загадке»?

— Никакой «тихомировской загадки» вообще не было. Была только раздутая молвою «тихомировская легенда».

— Однако же он прибыл за границу, имея за плечами десятилетний стаж работы в рядах «Земли и воли» и «Народной воли». Из него приходилось четыре года на Петропавловскую крепость!

— Да, но ведь это же по «процессу 193-х». Кого только следственная власть тогда не брала! А выдерживала их за решеткой подолгу, потому что сама терялась: кому какое

обвинение пришить. Смертников, заметьте, тогда еще не знали. А Тихомиров уже из этого невинного сиденья вышел с абсолютно искалеченной душой. Про него говорили: он заболел шпиономанией! А я говорю: потерял себя. Стал трусом на всю жизнь.

— Это не преувеличение?

— Нимало. Может быть, вы слышали, что у товарищей он и раньше слыл под кличкой «Старик». Ошанина и подруга ее Чернявская мне рассказывали: случалось, Александр Михайлов увещевал его: «Подержись, Лев, подержись, старичок; бери пример с нашей молодежи, погляди, какими они орлами ходят!». А знаете ли, сколько было ему лет? Двадцать с чем-то. Он родился, помнится, в том же году, что и я, в 1860-м. Не он, тогда юноша, а душа его была хилым перестарком от рождения. Когда в такие годы, как наши, увядают, народ это зовет «собачьей старостью». Не так ли? Про Тихомирова все ближайшие друзья сами озабоченно толковали, что за ним водятся некоторые «странности»... Какие же это? После гибели Александра II, видите ли, он, подражая чинам высшей администрации и генералитета, вздумал носить через рукав широкую траурную повязку. Потом он сам рассказывал, что нарочно побывал на торжественном соборном молебствии, где молящихся публично приводили {159} к присяге новому императору; наконец, вместе с разными именитыми государевыми верноподданными участвовал он и в массовом паломничестве к Троице-Сергию; и даже формальной пропиской запечатлеть свое в нем участие не позабыл.

Хороши «странности»! На его счастье, в рядах Исполнительного Комитета абсолютное бесстрашие было таким будничным, всеобщим бытовым явлением, что все это сходило за конспиративные фокусы с целью затмить самого Александра Михайлова. Настоящая же их подоплека обнаружилась лишь тогда, когда он буквально сбежал от события 1 марта в Москву, оттуда в Казань, потом надолго застрял где-то на Дону — о рыболовной казачьей общине, видите ли, необходимо ему было написать, — и наконец, марш-маршем скрылся за границу...

— Но ведь почти одновременно с ним за границу уехала и такая бесстрашная женщина, как Ошанина?

— Огромная разница! Ошанина была тяжело больна в Москве, гнездилась в мебелированной комнате, не имея никого для ухода за собой и почти без медикаментов; выходить она не могла вовсе, а к ней без конца ходили все, кто в своей работе наткнулся на какие-нибудь трудности; не говоря уже о том, что на ее рассмотрение повергались решительно все спорные вопросы партийной деятельности, — им не было числа, а она была прикованная к постели нелегальная. Сношения с ней для всякого, не говоря уже о ней самой, были воплощенной опасностью. Она была очень чутким и осторожным человеком, школы Александра Михайлова, отлично видела опасность, но на этот раз отдавала себе отчет в том, что в Москве без нее не обойтись. Потому все длила и длила это невозможное положение, хотя все протестовали против ее обреченности и самым настойчивым образом уговаривали хоть на время скрыться за черту досягаемости.

А Тихомирова, напротив, тут-то, после разгрома Исполнительного Комитета, как раз все ждали, и призывали, и возлагали на него огромные надежды. Еще бы! Кому же было, как не ему, самому зрелому и авторитетному из уцелевших, и восстановить заново организацию? Настроение это было, конечно, сплошной иллюзией. Но она у оставшихся была всеобщей. И что же? Как поступил двадцатипятилетний «старик»? Он, вопреки всему и всем, как самый настоящий дезертир, сбежал за границу, сбросив всю тяжесть ответственности на хрупкие плечи одинокой Веры Фигнер.

Вы и представить себе не можете, какую жутью на всех нас за границей повеяло от известия, что она там, с героизмом отчаяния, бессильно мечется из конца в конец по сплошной пустыне безлюдья. Какую забил тревогу сам наш старик, старик без кавычек, не тот, из молодых, да перестарок, а подлинный, величавый наш старец Петр Лаврович Лавров! Надо, вопиял он, немедленно или съездить к Фигнер, убедить ее не подвергать себя бесполезной гибели, а лучше переждать пору острого организационного развала за границей; и тогда Лавров не видит более подходящего, чем сам он, человека, {160} чтобы на нее в этом смысле повлиять, действуя всем своим авторитетом; или же — если уж она обреченность свою возвела в принцип, если высшим своим долгом считает довести свое дело до конца, до большого политического процесса партии, который должен быть ее последним словом, во всеуслышание обращенным к стране... о, тогда... — и голос Лаврова зазвучал особенно проникновенно и торжественно, — тогда нельзя же оставить ее одну, кто-то должен занять место на скамье подсудимых рядом с ней, разделить с ней и ее участь, и ее ответственность. Кому же и взять это на себя, как не старейшему из проповедников революции, вдохновлявших на нее молодежь и подкреплявших свои призывы всем весом современного научного знания и философской мысли?

Рубанович сделал тут передышку и вдруг обратился ко мне:

— Ну, если б вы были тогда среди нас, что вы на это сказали бы? Застигнутый этим вопросом врасплох, я был смущен и поставлен в тупик.

— Возможно, что я бы с ним и согласился...

— Bravo! Отличный ответ — и все же он никуда не годится. Вот и у меня первый порыв был таков же. Но его опрометчивость удачно вскрыла своей четкой логикой та же Ошанина. «Такой поступок, да еще со стороны Лаврова, был бы, — возражала она, — сознательно или помимовольно, но явным призывом к подражанию: могла бы разразиться целая эпидемия добровольных явок под суд, то есть по существу политических самоубийств. Зачем? Ни тени судебного авторитета мы за вершителями политических процессов не признаем. Рассчитывать на то, что на суде подсудимые получают трибуну для объяснения во всеуслышание с народом? Пустая иллюзия! Подобный промах могли еще власти допускать сгоряча, вначале, не зная, с кем имеют дело. Но на горьком опыте они быстро убедились, что им-то судебная процедура совсем невыгодна. И теперь уже воочию видно их предпочтение ликвидировать впредь такие дела под сурдинку — „попроще, поскорей, без мишуры, без маски фарисейской, без «защитительных речей»", — как гласит старая революционная песня, посвященная „процессу 50-ти". («Процесс 50-ти» — суд над участниками Всероссийской социально-революционной организации. Проходил 21 февраля — 14 марта 1877 г. Обвиняемые: С. И. Бардина, П. А. Алексеев, И. С. Джабадари, Г. Ф. Зданович, В. Н. Фигнер, В. С. и О. С. Любатович и др. Первый в России политический процесс, на котором активно выступили рабочие (14 чел.) и женщины (16 чел.). Главное обвинение — участие в «тайном сообществе, задавшемся целью ниспровержения существующего порядка». Центральным событием процесса была речь рабочего-революционера Алексева. Согласно приговору, на каторгу от 3 до 10 лет осуждены 10 человек, в ссылку в Сибирь — 26 человек, на тюремное заключение и принудительные работы — 10 человек, на заключение в смиренном доме — 1 человек, оправданы 3 человека. Процесс привлек внимание передовой общественности в России и за границей.)

А что касается плана благополучно {161} добраться до Веры Фигнер, чтобы отговорить ее от героической, но бесполезной гибели, — так это лучше Петра Лавровича сумеет сделать его именем человек помоложе и поизворотливей. Вот, например, сейчас у нас приходят к концу переговоры о вхождении, следом за Стефановичем, в Исполнительный Комитет такого его закадычного друга, как Евгений (должен вам объяснить, что под этой кличкой шел у нас Лев Дейч). Тогда он все равно поедет в Россию, и ничьей особой миссии для розысков Фигнер не потребуются». Это было так убедительно, что ответом на лавровское предложение было наше всеобщее единогласное вето.

Старик был огорчен, может быть, даже обижен, но должен был подчиниться. И правильно! Было уже поздно: Вера Фигнер, как оказалось, была уже в сетях новозавербованного охранкой провокатора Дегаева...

На этом первый наш разговор был кончен. Во время следующего моего визита я не упустил случая вернуться к оборвавшейся тогда нити беседы и поставил Рубановичу ребром такой вопрос:

— А не находите ли вы, что, в конце концов, Тихомиров, рассуждая объективно, вовсе не был уж так неправ, когда приходил к выводу: ликвидация «Народной воли» идет автоматически неудержимо, значит, кроме переброски уцелевших квалифицированных сил за границу, ради их сбережения для лучших времен, ничего не остается — разве только бессильно барахтаться?

Однако вы ставите вопрос беспощадно... Ничего против этого, впрочем, не имею. Мне тоже не раз — скрепя сердце! — приходило это в голову: пока делать нечего, плетью обуха не перешибешь. Но мог ли я осуждать Ошанину, которая была верна тому, что завещали оставшимся погибшие товарищи, и все-таки делала отчаянные, почти безнадежные попытки перешибать обух плетью? Не воображайте, однако, будто Тихомиров всерьез пытался остановить ее на этом пути. Нет, он сам на него перескакивал при малейшем признаке улучшившейся политической конъюнктуры.

Вот явился к нам литератор Николадзе с блефом — собственной ли фабрикации, или подsunутым ему каким-нибудь охранным Макиавелли, какая разница? Он честный маклер, передает о желании каких-то высокопоставленных кругов, с министром двора Воронцовым-Дашковым во главе, — вести переговоры с террористами о временном перемирии ради попытки увлечения ими правительства на более либеральный курс. И все приняли его всерьез — каюсь, и я был не без греха... В такое уже фантастическое время мы жили. Что же Тихомиров — призвал нас к более трезвому взгляду на дело? Да нет — его увлекла греза, столь же неумная, как и некрасивая, даже унижительная — попробовать выжать из неведомых придворных миротворцев депонирование миллиона рублей как залог за добросовестное выполнение условий договора, если он будет заключен.

Ошанина первая посмеивалась над этим «миллионом в тумане», но Тихомирова не останавливала: «Чем бы {162} дитя ни тешилось, — говорила она, — только бы не отбивалось на сторону, не рвало самоубийственно связей с партией!». И то же повторилось, когда собралась группа человек в пятнадцать с Лопатиным во главе — ехать в Россию, чтобы возродить «Народную волю». Тихомиров немедленно выскочил с воспоминанием, как он без году неделю был в Распорядительной комиссии Исполнительного Комитета и, во имя шитой белыми нитками преемственности власти, высочайше откroировал руководящей тройке этой группы полномочия — Распорядительной комиссии второго призыва, — полномочия, которыми сам он никогда целиком не располагал, да и права одного из членов этого тройственного «центра центров» партии давно сам с себя сложил.

Ошанина переосторожничала: совсем отказалась обсуждать этот вопрос, отговариваясь тем, что сама в Распорядительную комиссию никогда не входила и ее именем распоряжаться не может. Опять чтобы не дать Тихомирову повода уйти из партии, хлопнув дверью. А результат? Встреча Лопатина и всей тройки русскими товарищами в штыки, обвинение их в самозванстве, едва не раскол в партии, с отпадением от нее «Молодой „Народной воли“»! (Молодая партия «Народной Воли» - революционно-народническая организация начала 1880-х гг. Зародилась как оппозиция старому руководству «Народной воли», организационно оформилась в Петербурге в январе 1884 г. «Молодые» (Н. М. Флеров, П. Ф. Якубович, И. И. Попов и др.) считали нужным ослабить централизм, предоставить больше самостоятельности периферийным группам, сосредоточить усилия революционеров на пропаганде социализма среди рабочих, пытались

использовать фабричный и аграрный террор как средство вовлечения масс в борьбу. Они выработали программу и устав, готовили печатный орган «Народная борьба», привлекли на свою сторону киевскую и московскую народовольческие организации. В марте 1884 г. Распорядительная комиссия, избранная съездом народовольцев в Париже для восстановления «Народной воли» с прежней программой, начала переговоры с «молодыми» и к началу июня достигла соглашения об объединении. Много «молодых» было арестовано в марте и ноябре 1884 г. Некоторые из них судились по «процессу 21-го».)

К чему только этот человек — я о Тихомирове говорю — ни прикасался, все он портил, внося ходульность и претенциозность, граничащие с карикатурой. В нем подлинной веры в смысле того, что он делает, давно уже не было, но его все еще подмывала какая-то ему самому неведомая сила — выкинуть еще одну фантазмагорию, сыграть еще раз ва-банк на авось, на первую попавшуюся карту! И посмотрите, какой это был противоречивый, раздвоенный, ненадежный человек! В самой России он долго из кожи лез, чтобы вскарабкаться на самый верх партии: ведь его заветная мечта была — стать властью! И он достиг своего — получил назначение в Распорядительную комиссию. Чего же, кажется, еще: триумфир, да и только! А чуть не назавтра, не ведая, что делать с этой бумажной властью, сразу увял и заявил товарищам: если вы хотите, чтобы я служил революции своим самым {163} острым оружием — пером, освободите меня вчистую от всех практических дел, сношений, организационных проблем!

Товарищи широко раскрыли глаза, вероятно, что-то сообразили — и он стал «вольноотпущенником». А здесь, за границей, он повторил ту же игру в обратном порядке: начал с заявления, что писать готов, но в деловом смысле выслужил себе чистую отставку, к организации и ее делам более не хочет, не может и не будет иметь никакого касательства. Ну, хорошо. Но тут подвернулись сенсации, которые привез с собою Дегаев из мира полицейского «государства в государстве», возглавленного авантюристом-честолюбцем Судейкиным и готовившего какие-то чуть не дворцовые перевороты; приехал Николадзе с предложением якобы от какой-то придворной партии устроить перемирие власти с «Народной волей» — и все благоразумные планы Тихомирова полетели верх ногами. Психологию его понять нетрудно: помилуйте, тут, может быть, готовятся какие-то крутые сдвиги и переломы всероссийской, а значит косвенно и мировой истории; как же допустить, чтобы они произошли без участия Льва Тихомирова?!

Рубанович несколько раз прошелся по комнате, и вдруг подошел ко мне вплотную, и поглядел на меня каким-то испытующим взглядом.

— Я, может быть, перед тем несколько увлекся и дал вам повод подумать, будто негодую на то, что Тихомирова не было вместе с Верою Фигнер в ее последней, отчаянной попытке спасти Исполнительный Комитет от паралича и смерти. Это было бы величайшей ошибкой. Не хочу дать для нее и тени повода: я рад, что этого не случилось! Ей ровно ничего его присутствие не дало бы. Он был уже давно «отработанный пар» революции. Он кончил бы в России тем же отступничеством — только в худшей обстановке и с бесконечно более роковыми для других последствиями. Вы понимаете, что я этим хочу оказать? Тихомиров, раскаявшийся в конце 80-х годов за границую — был, правда, манной небесной для наших врагов, — но для кого именно? Для всей этой суворинско-катковской реакционной газетной шушеры, и только. Но Тихомиров, раскаявшийся в России, в хаосе партийного развала, да еще, не дай Бог, в тюрьме... это уж была бы манна небесная для тончайших мастеров политического сыска... Они бы, ручаюсь вам, вырастили из него второго Гольденберга, второго Дегаева!

И снова усевшись в кресло, усмехнулся и сказал:

— Ну, что же вы молчите? Думаете — увлекается человек, во всем рад переборщить? Это мне многие говаривали, когда я только что начал произносить свои первые филиппики

против новоявленного кумира эмигрантской галерки. Но жизнь разрешила наши споры, смею думать, непререкаемым приговором над ним. Он оказался куколкой, в которой медленно, но верно созревала личинка измены!

Я ответил:

{164} — Нет, я нисколько не сомневаюсь, что политическая фигура Тихомирова не могла не быть и противоречивой, и претенциозной, и, может быть, даже одновременно и дряблой, и заносчивой. Но ведь это-то вроде носимого им на людях выходного костюма. Но я силюсь себе представить Тихомирова просто как человека, каким он бывает наедине с самим собой, — и не вижу его.

— Вы думаете, что это интересно? Ах, да, с точки зрения мифической «загадки Тихомирова»! Ошибаетесь! Под внешней интеллигентской позолотой ничего вы не увидели бы, кроме самого прозаического мещанина и обывателя. Когда-то, в России, он отталкивал иных диктаторскими повадками, но здесь, у нас, их сменила заботливо наигранная скромность. От него, видите ли, нельзя ничего требовать, он человек конченный, юность прошла, идет спуск под гору, к небытию... О скрытых под этими lamentациями самовлюбленности и кокетстве можно было догадываться только разве по тому, как любил он носиться, как с писаною торбою, со своими мелкими домашними невзгодами, как умел навязывать их всем окружающим! А лейтмотив был один и тот же: тоска по «презренному металлу», которую он выражал с красноречием профессиональной побирушки.

Ах, если бы вы видели, как ловко подобрался он однажды к Русанову! У него-де, Тихомирова, есть персональная связь, чрез которую он мог бы передавать статьи для помещения в богатом «семейном» иллюстрированном журнале «Нива», где платят не грошовые гонорары интеллигентских пролетариев, а гонорары литературных набобов. («Нива» — российский еженедельный иллюстрированный журнал для семейного чтения, выходивший в Петербурге в 1870—1918 гг. в издательстве А. Ф. Маркса. В журнале печатались писатели разных направлений, в том числе П. Д. Боборыкин, И. А. Гончаров, Н. С. Лесков, Д. Н. Мамин-Сибиряк, Д. С. Мережковский, Л. Н. Толстой, А. П. Чехов, И. А. Бунин, А. А. Блок и др. Общественно-политическая жизнь освещалась в «благонамеренном» духе. С 1891 г. в качестве бесплатного приложения к журналу издавались собрания сочинений многих русских и иностранных писателей, что обеспечило журналу большие тиражи и популярность.)

Беда лишь в том, что журнал этот — мещанский, обывательский, и для поддержания своей репутации полицейской благонадежности не брезгует площадными вылазками против революционеров. Это все еще не беда — кто их берет всерьез? Тихомиров сумел бы и в него незаметно впускать изрядные дозы революционного вируса. Но он влачит на своей спине тяжкий груз — собственного революционного имени, ему уже не принадлежащего, уже давно ставшего омонимом Исполнительного Комитета. «Нива» и Исполнительный Комитет... да от одной мысли об этом редактора умерли бы со страху. Спасти дело мог бы только человек, взявшийся выдать самого себя за настоящего автора. Но он должен быть человеком настолько талантливым, что блеск литературного дарования тихомировских статей не покажется неестественным за его подписью, видите, {165} сколько ловко подпущенной лести! И настолько дорожащий престижем Исполнительного Комитета и его обычного глашатая, чтобы уберечь их от невыгодных толков, пожертвовав на время собственной репутацией!

И тут же опять ловкий ход: незапятнанность же этой репутации для истории можно бы обеспечить особым, все разъясняющим документом за подписями и номинального, подставного автора, и настоящего. У Русанова даже сердце упало, когда он сообразил, что Тихомиров золотит пиллюлю, которую его-то именно и хочет заставить проглотить. Не умею вам точно рассказать, как, какими ухищрениями Русанову удалось-таки ускользнуть от набрасываемой на него сети, он ведь к Тихомирову долго сохранял «влеченье, род недуга» — хотите, спрашивайте его самого, а с меня хватит.

— Как это странно! — сказал я. — Казалось бы, человек с литературным талантом Тихомирова не должен был нуждаться в таких фокусах, чтобы прокормиться литературным трудом — и под псевдонимами в русских журналах, да и прямо в иностранной прессе...

— А вы смотрите на дело, как новичок, через розовые очки. Если заживетесь здесь, как мы, и попробуете жить литературным трудом, узнаете, почем фунт лиха. Все мы живем не на розах. Лавров порой задумывался, не начать ли ему продавать свою библиотеку, а она у него единственная в своем роде. Но на это он был физически неспособен, как скажем, замоскворецкий гостинодворец поднять руку на икону Иверской Божьей Матери.

Русанов, как вол, работал и продолжает работать на географическую энциклопедию Гашетта. Ошанина, как и ее подруга Чернявская, зарабатывали на жизнь жалкими грошовыми уроками. И никто из них не ныл вечно, как то делал Тихомиров, о безденежье, о навеваемых им скуке и тоске, о том, что ему не пишется, что заработанные деньги плывут сквозь пальцы неведомо куда и что под дамокловым мечом нищеты и, может быть, голодной смерти в будущем серьезная работа невозможна и самый талант выдыхается. Сам Лавров всячески пытался его связать с английскими журналами, Русанов поделился с ним работой на Гашетта и учил его, как надо писать для энциклопедий; я ввел его через Рони Старшего в круги французских литераторов. Но он там пришелся не ко двору.

Рони Старший недоуменно поведал мне о том, как Тихомиров его занимал рассказами: какие жуткие минуты переживал он с женой, когда мимо окна дома, в котором они находилась, проезжала на казнь черная колесница с осужденными первоапрельцами. (Первоапрельцы — российские революционеры, члены организации «Народная воля», участники покушения 1 марта 1881 г. на императора Александра II. Покушение готовил Исполнительный Комитет «Народной воли». Главным организатором был А. И. Желябов. После его ареста подготовку покушения возглавила С. Л. Перовская. 1 марта в Петербурге царь был убит бомбой И. И. Гриневицкого, погибшего при этом. За участие в покушении Желябов, Перовская, Н. И. Кибальчич, Г. М. Гельфман, Т. М. Михайлов, Н. И. Рысаков были судимы и приговорены к смертной казни. Все, кроме Гельфман, 3 апреля 1881 г. были повешены.)

{166} При одной мысли о том, что и они могли бы сидеть рядом с ними в той же колеснице смертников, они за одну минуту пережили целую вечность... И Рони с недоумением спрашивал меня: да неужели же при виде бесстрашно идущих на смерть товарищей в его душе не нашлось места для иных, менее занятых самим собою чувств и мыслей? Неужели же это — тоже революционер, один из фаланги бессмертных, один из баснословных русских героев, перед которыми преклоняется вся передовая Европа?

— Нет, литературная работа, о которой мечтал Тихомиров, ничего общего не имела с серьезной и усидчивой разработкой глубоких проблем, — ему хотелось сенсационных выступлений и деклараций, шумихи бульварной прессы. В этом деле ему были полезнее нас сомнительные литературно-политические маклеры, и прежде всего некий Павловский, оказавшийся корреспондентом суворинского «Нового времени» (*псевдоним — Яковлев*).

(«Новое время» — газета, издававшаяся в 1868-1917 гг. в Петербурге. В 1876-1912 гг. издателем был А. С. Суворин, а в 1912-1917 гг. — «Товарищество А. С. Суворин». После Февральской революции 1917 г. газета занимала ярко выраженную антибольшевистскую позицию. Закрыта петроградским ВРК 26 октября 1917 г.)

От них дорога шла к политическим интриганкам, вроде госпожи Адан и Ольги Новиковой, в Лондоне слывшей тайным послом России. Эти барыни вскружили Тихомирову голову, соблазняя его ролью «русского генерала Монка», устроителя династических переворотов — они работали, если не ошибаюсь, на великого князя Владимира (Великий князь Владимир Александрович Романов.) и его фактотума Сергея Александровича.

Для меня нет сомнения, что и сам Павловский был чей-то агент: он сыграл роль сводника между Тихомировым и фон Плеве через орудие последнего — обер-шпиона Рачковского.

И порой у меня мелькала мысль: а не была ли эта сделка простым продолжением тихомировского участия в переговорах о перемирии между правительством и «Народной волей», начатых еще министром двора Воронцовым-Дашковым, — переговорах, за кулисами которых действовала «Священная дружина»? («Священная дружина» — конспиративная организация российской придворной аристократии в 1881-1883 гг. Создана после убийства народовольцами императора Александра II. Организаторы и руководители граф П. П. Шувалов, граф И. И. Воронцов-Дашков и др. Пыталась бороться с революционным движением, имела обширную агентуру в России и за границей. Издавала в Женеве газеты «Вольное слово» и «Правда», создала «Добровольную охрану» для защиты Александра III от возможных покушений.)

Кто знает, сколько откровений получит русский читатель, когда революция откроет все секретные архивы и явится историк, умеющий проследить пружины, корни и нити авантюры, вдохновляемых и направляемых самими {167} коронованными владыками России и их верными, а иногда и неверными слугами!

...И еще вам скажу: то же отрицательное впечатление, которое Тихомиров в литературных кругах Франции произвел на Рони Старшего, в кругах общеполитических он произвел на Клемансо. Прием у Клемансо устроили ему специально, видя, что он вечно мучится беспокойством: то ему кажется, что ему грозит высылка из Франции, то, что Рачковский замышляет его похищение, то его беспокоят выходки каких-то оголтелых интернациональных шпионов «Куна и Грюна» — за которыми, как говорят, скрывался франко-русский шпион Бинт, устраивавший в Женеве, вместе с агентом Рачковского Милевским и еще каким-то швейцарцем, ночной набег на типографию нашего «Вестника „Народной Воли“». («Вестник „Народной воли“» — журнал, издававшийся в Женеве эмигрировавшими членами Исполнительного Комитета «Народной воли» в 1883-1886 гг. Вышло пять номеров. Редакция (находилась в Париже): Л. А. Тихомиров, М. Н. Ошанина, П. Л. Лавров. В числе авторов были Н. Русанов, Л. Бух, В. Дебогорий-Мокриевич. Журнал освещал общественно-политическую жизнь России, социалистическое движение в Западной Европе. В первых номерах опубликованы статьи Г. В. Плеханова и Б. П. Аксельрода. Однако попытка сближения бывших чернопередельцев, ставших социал-демократами, с руководителями народовольческой эмиграции не удалась.)

Надо было его успокоить, и частным образом мы уже подготовили — как только понадобится — вмешательство Клемансо в его защиту. Но, представьте себе, на приеме у Клемансо Тихомиров выглядел такую, извините за выражение, мокрою курицей, что Клемансо потом, пожимая плечами, спрашивал: и этого-то дрожащего от страха субъекта нам выдают за одного из революционных «северных богатырей»?..

Но если вы все еще сомневаетесь в том, что Тихомиров просто был трусом, — ну да, элементарным физическим трусом, — обратитесь к Русанову, он может вам рассказать, как однажды на Кавказе этот человек с перепугу полез на дерево, когда ему померещилось, будто в кусте ворочается кабан, или как он не знал, куда деваться, когда в вагоне какому-то пьяному англичанину вздумалось погрозить ему палкой. А здесь, у нас? Вначале, еще из Швейцарии, во время столкновения с плехановской группой из-за секвестра, наложенного Исполнительным Комитетом на письмо Стефановича к Дейчу, — письмо, из которого открылось, что первый вступил в Исполнительный Комитет для виду, с целью взрыва его изнутри, — разве он не перетревожил всех нас паникерским известием, что Дейч собирается и грозит его убить? Или здесь, в Париже, незадолго до своей открытой измены, разве не всполошил он всех своих друзей такую же вестью, что его собирается убить один из младших народовольцев, Бек?

А всего памятнее мне, какие отчаянные попытки делала вначале та, кого вы называете Мариной Полонской, чтобы в лице Тихомирова {168} спасти в наших глазах престиж Исполнительного Комитета...

Она даже целую собственную теорию для этого изобрела. «Конечно, — рассуждала она, — благо тем, которые от природы награждены физической силой, ловкостью, душевным, так сказать, полнокровием и равновесием. Но что дается легко, в том нет особой заслуги. А вот вы представьте себе человека хилого, болезненного, физически и душевно анемичного. Если он, ценой вечной борьбы с самим собой, постоянного преодоления природной робости и слабодушия, сумеет идти той же самой дорогой жертв и подвигов, для которой иные как будто предназначены от рождения — у кого найдете вы больше истинного героизма?»

Должен сказать, меня никогда не прельщала мысль, будто герой есть ежедневно преодолевающий себя трус, а гений — ежедневно превосходящий себя дурак. Но, знаете ли, Русанов одно время поддался было этой наизнанку вывороченной логике. Он водил меня не раз к Тихомирову на дом взглянуть в него в семейной обстановке, чтоб я умел лучше его понять, а «понять — значит простить». И что же я увидел? Не человека, а тряпку, под башмаком у жены, женщины в высшей степени цепкой и жизнелюбивой, весь мир которой ограничивался пределами детской комнаты, а в ней... В ней я увидел малыша явно дефектного. Едва спасенный от менингита, он был не особенно далек от полного идиотизма. Не умел даже играть и шалить. Слабоумный и косоглазый, он выглядел маленьким старичком. Я с тайным ужасом вспомнил кличку его отца «Старик» и увидел в ребенке полное торжество наследственности, лишь доведенной до уродливо гиперболической формы: классический образец вырождения!

И вокруг него вращалась вся жизнь семьи, загипнотизировавшей себя безнадежно иллюзией, что этого злосчастного человеческого детеныша отец и мать еще могут спасти ценою абсолютного к нему приспособления, абсолютного снижения до его жалкого духовного уровня! Иные находили это трогательным. А на меня навевало жуткий холод созерцание того, как усердно — и как успешно! — помогали они друг другу «снижаться». Чтобы дать пищу дремлющему воображению ребенка, отец не нашел ничего лучшего, как водить его в католическую церковь, открывать ему исподволь всю «тайную мудрость» ее догматов — и беспорочного зачатия, и божественного младенца, и всяческой вокруг них *демонологии* и *ангелологии*, плюс вера в «вещие сны» и открываемые в течение мелких жизненных случайностей тайные знамения.

Отец полунаивно, полукокетливо признавался мне, что прямо заболевает, когда увидит во сне гроб или заметит луну с левой стороны, хотя редко забывает обеспечить себя от этого разными хитроумными маневрами: а главное — что он любит гадать о каждом начатом деле, раскрывая наудачу книгу — лучше всего Библию — и применяя к себе первые попавшиеся на глаза фразы. Невинные пережитки полудетских привычек, скажете вы? Но близкие к Тихомирову люди растерянно рассказывали нам, что {169} именно таким путем впервые закралась в его сознание мысль о «припадении к стопам» царя: гадая в одну «минуту жизни трудную» по Библии, он открыл ее на описании того, как Бог помог Моисею войти в милость к египетскому фараону: а жена его, — скажу кстати, женщина цепкая, в глубине души вульгарная, весьма себе на уме и умевшая подчинять себе безвольного и фантастического мужа, — нашептала ему разъяснение, что под Моисеем кого же и разумеет, если не самого сновидца-мужа, а под фараоном — кого же, как не государя всероссийского!

О ней нам Тихомиров говорил: «Катя была слишком матерью, чтобы остаться революционеркой». О да, именно: иступленною матерью, недоверчиво, а порою и

озлобленно встречающей все сторонние веяния, вторгающиеся в стабилизацию ее замкнутого треугольника: отец, мать и духовный калека-детеныш. Если в тихомировском падении вам все еще мерещится «загадка», так ищите ее корней в изуродованности всей его личной и семейной жизни. А она расцвела махровым цветом на данной ему исторической подпочве: ведь Тихомиров сам говорил, что по всей восходящей линии предков, насколько могут хватать семейные воспоминания, и даже по боковым ветвям женской линии, род его упирается в церковность, в людей духовного звания. Оттуда всплыли все эти пережитки: вплоть до лечения зубной боли маслом от святого Митрофания, образок которого — подарок матери — в его жизни, верил он, играл роль приносящего удачу талисмана; вплоть до милого его сердцу дедовского обычая не есть вареного яйца, предварительно его не перекрестив: и через яйцо может тайно внедряться — даже в монаха! — бесовская сила.

...И я думаю: из того же первоисточника всплыл в его сознании и долго в нем дремавший антисемитизм. Вы делаете большие глаза? А я вам говорю: да, Тихомиров, собственно из ненависти ко мне не выдержал и сам выдал себя, как злостного антисемита. О, конечно, сразу с откровенным антисемитизмом — это в социалистической-то среде! — он и показаться не мог. Но у него, этого православного иезуита, ум был изворотливый. Из его окружения сначала поползли слухи: подлинное мое имя вовсе не Рубанович, а то ли Рубинович, то ли просто Рабинович. Публика пожимала плечами: по линии семитической Рабинович, Рубинович, Рубанович так же друг друга стоят, как Тихомиров, Тихонравов, Тихогласов по линии поповско-семинарской.

Все знали, что первая же статья моя в «Вестнике „Народной воли“» была статьей еврея-социалиста по еврейскому вопросу; что первым и единственным своим литературным псевдонимом я, Элиаш Рубанович, выбрал более чем прозрачный — Эльяшевич. Но тут-то и вышла наружу задняя мысль всех пересудов: это, видите ли, Полонская-Ошанина заставила меня хоть немного затушевать еврейский характер моего имени: при всей нашей близости ей все-таки было трудно переварить мое еврейство. Это Полонскую-то {170} пытались выдать за скрытую антисемитку! И повторная сделана была попытка примешать ее имя к скандальной хронике эмиграции: придумали какого-то эмигранта-«либерала» (подозреваю, что в это звание был возведен тот же тайный полицейский агент Павловский), которому будто бы один из крупных чиновников русского генерального консульства проболтался: им регулярно доставляет донесения об эмиграции и столь же регулярно получает за это свои 30 иудиных серебряников крупный, влиятельный эмигрант, ближайший к Полонской-Ошаниной...

Тут, признаюсь, я пришел в бешенство: одних — лично за себя — потащил к партийному третейскому суду, других, из французииков бульварной прессы, — за Ошанину — к барьеру! Ну да, именно: на дуэль. Это произвело впечатление разорвавшейся бомбы; да, признаться, я и сам раньше не мог бы самого себя представить в роли дуэлянта. Тут прирожденное благородство толкнуло выступить со своим заявлением самого Петра Лавровича: «Рубанович — мой друг, и я принимаю на себя всю полноту ответственности за него, как за себя самого». Но подводя итоги, скажу: все же меня в этом деле постигла крупная неудача. Осуждение партийным третейским судом одного из рядовых разносчиков клеветнического измышления — к чему было мне оно? Я надеялся самой резкостью своих действий заставить из-за спины слепых орудий выдвинуться самого изобретателя и вдохновителя этих постыдных деяний. Не тут-то было: Тихомиров, как жучок в момент опасности, притворился мертвым.

Все же именно этим было неопровержимо доказано, что он — не только трижды презренный клеветник, православный иезуит и антисемит, но и столь же презренный трус. Этим, полагаю, исчерпана вся мнимая «загадка Льва Тихомирова». Что вы на это скажете?

— Да прежде всего то, что вы в своей жизни упустили одно профессиональное призвание: великолепного судебного следователя и генерального прокурора...

Покидая Рубановича, я подводил итоги своим впечатлениям. Хотя он в продолжение почти всей нашей беседы старался уклониться от рассказа о самом себе, как будто все еще целиком поглощенный «делом Тихомирова», но лично для меня дело это понемногу отходило и наконец совсем отошло на задний план: его заслонила выпрямившаяся во весь свой рост крупная фигура самого моего собеседника и рассказчика. Рисуя своего антагониста, он невольно выказывал самого себя. Не мне судить, насколько мне удалось передать «цвет и запах» его взволнованной, стремительной, но вместе и четко отточенной речи. Какой своеобразный и интересный в ней сплав — думал я: тут и подлинный, поданный с беспощадной прямоотой, аналитический психологизм русского стиля; тут и приподнятый пафос классически-французского красноречия; тут и вся нервная страстность еврея.

Нет, не только на кресле прокурора, но и на парламентской кафедре {171} производил бы яркое и красочное впечатление этот обличительный жар подлинного народного трибуна. Недаром и в наших, и во французских кругах как в то время, так и после говорили не раз о возможности выставления его кандидатуры в одном из избирательных округов на пост депутата. Но сам он всегда возражал: «Для этого мне пришлось бы превратиться целиком и исключительно во француза, ликвидируя в себе второе мое, русское, естество, а это мне так же не дано, как вытравить из себя органически французское». И складывалась мысль: при его широких международных, особенно французских связях, при всем жизненном стиле иностранца, не говоря уж о его таланте и темпераменте, не предназначен ли он самую природою стать заграничным послом, министром иностранных дел русской революции?

В Париже при изучении обстоятельств распада «Народной воли» для меня выяснилась исключительно крупная роль, выпавшая при борьбе с этим распадом надолго Марины Полонской, — имя, под которым проживала Мария Ошанина, урожденная Оловенникова. Выяснял ли я подробности об измене Льва Тихомирова или о попытках русских придворных кругов через созданную ими тайную организацию «Священная дружина» повести с «Народной волей» переговоры о перемирии между нею и властью, или о поездке Германа Лопатина в Россию с целью восстановить Исполнительный Комитет; интересовался ли выдвижением в самой народолюбивейшей организации за границей новых людей, вроде И. А. Рубановича, — везде наталкивался я на решающее влияние, которое каждый раз имела эта замечательная женщина.

А так как она скончалась за год с небольшим до моего приезда за границу, то все направляли меня за нужными мне сведениями к ее ближайшей подруге и по России, и по загранице Галине Федоровне Чернявской, более известной по имени мужа, очень известного революционера, Бохановского. Я решил последовать этим указаниям.

Передо мною была женщина несколько сурового или, пожалуй, угрюмого вида, с сощуренными от сильной близорукости глазами. Она, по-видимому, не отличалась природной общительностью. Трудно было признать в ней ту женщину, про которую А. Бах, никогда не грешивший слабостью к лестным характеристикам, говорил: «Ее кипучая энергия возбуждала во мне чувство, граничащее с восхищением». На мои вопросы она отвечала так скупое и неохотно, что меня уже подмывало признать свой визит неуместным, вежливо извиниться и откланяться. От этого меня удержало лишь сознание: где же я найду человека, способного больше и полнее рассказать мне о замечательной русской женщине, которой все в один голос приписывали громадную роль в оформлении социалистического и революционного миросозерцания И. А. Рубановича, чьею женою она и окончила свою яркую и бурную жизнь. Оказалось, однако, что я сам виноват — {172} по привычкам юношеской

конспирации, неразборчиво буркнул свое имя; а видя меня лишь впервые, она подумала — не газетный ли я корреспондент или интервьюер? И если так, то почему мне вздумалось ворошить прошлое, которое с текущим моментом не связано, а с другой стороны, еще не успело остыть и превратиться в историю?

Только тут я догадался объясниться с нею и рассказать, как мучилось сознание той новой революционной молодежи, к которой я принадлежу, живыми загадками бурной эпохи, нам предшествовавшей. Лицо Чернявской оживилось, а когда пришлось произнести имя Полонской, суровые складки на ее лице разгладились, и все оно просветлело.

— Знала ли я Полонскую? Еще бы! Я знала ее не только Полонской, женой Рубановича; я ее знала Кошурниковой, знала Ошаниной, знала и под девичьей фамилией Оловенниковой. Мы ведь обе родом из Орла, и у нас был общий учитель и вдохновитель Петр Григорьевич Заичневский — чистый тип шестидесятника, причастного еще к нелегальным предприятиям Чернышевского; обаятельная личность и прирожденный оратор — пламенный и волнующий. Не человек — орел! Могучего роста и телосложения, с громовым голосом, с победительной осанкой, с редкой силою и красотой речи. Никогда в своей жизни не видела я человека, способного так ярко развернуть перед слушателями трагедию Великой французской революции, освещенную с точки зрения крайних якобинцев. Она вставала перед нами, как живая, она снилась нам ночью, и самих себя мы видели во сне ее участницами. Весь тот выводок юношей и девушек, которых Заичневский распропагандировал и благословил на работу и борьбу в России, слыл под именем «русских якобинцев»; а кое-кто из нас и сами так себя именовали.

Все мы сразу влились в «Народную волю» и почти все миновали предыдущую фазу чистого народничества, для которой характерна идеализация мужика. С ней Маша никогда помириться не могла, и я знала народников и народниц, бледневших от ужаса, когда она произносила звучавшие для их ушей святотатством слова: «Я и люблю и в то же время ненавижу крестьян за их покорность и терпение». И так же порою бледнели, слушая ее, люди другого типа: не сразу выведшиеся среди нас анархо-бакунисты, верившие в чудодейственное преобразование народа под влиянием вспышкостельства и бунта.

«Бунт, — говорила она, — предполагает стихию-толпу. Но толпа — не народ; перерождает толпу в народ только народоправство, только самоуправление. Народная воля рождается лишь в нем — вот почему, только когда мы, „Народная воля“, в кавычках, дезорганизуем самодержавие и сокрушим его, явится народоправство, народ и народная воля — без кавычек». Никакие авторитеты на нее не действовали. Вот, например, хотя бы наш революционный ангел-хранитель, наш опекун по конспиративной части, наш «Дворник» — Александр Михайлов. Он долго не мог {173} отрешиться от одной из иллюзий старого народничества: увлекался раскольниками, мечтал о превращении готовой их тайной организации в подсобную для народовольческой. Все мы его бесконечно уважали и ценили; но в этом пункте скептицизм Маши не уставал посягать на его иллюзии и доставил ему немало огорчений. К нам, немногим в партии «якобинцам», недоверчиво присматривался вначале и Желябов: не внесем ли мы в партию разнобоя, не захотим ли сузить движение до искусства организации заговора для захвата — за спиной народа — власти? Но примирился с нами, убедившись, что наш «якобинский душок» — это прежде всего требование строгой организационной централизации и дисциплины... А на исходе борьбы, на закате «Народной воли», я уже в наших спорах имела случай говорить, что на деле все мы, члены Исполнительного Комитета, мыслим и действуем, как «якобинцы».

Видимо от непривычки «произносить речи» моя собеседница вдруг приостановилась и, как будто сбившись, не знала, с чего возобновить рассказ. Я осторожно пришел к ней на помощь и спросил:

— Ведь, наверное, после умершей подруги у нее остались какие-нибудь воспоминания, дневники, заметки или хотя бы беглые наброски?

— Нет, не найдете! — отрезала Галина Федоровна. — Мария Ошанина никогда ничего не писала. Про воспоминания говорила: их пишут только люди, у которых все в прошлом. Ненавидела и заранее заготовленные речи. Ее сила была в находчивости, в непосредственной словесной реакции на чужие «слова и жесты». Лавров ее когда-то назвал «маэстро словесной фехтовки», а Русанов признавал, что ему редко приходилось встречать такой, как у нее, «поразительный дар психологического внушения»...

— Да, он мне тоже это говорил, — заметил я. — Но мне не совсем ясно, что он разумел под этими словами. Когда я переспросил, он уклонился от разъяснения ссылкой на вас: «Ну, это вам лучше других Галина Федоровна расскажет».

— Да что же тут рассказывать? Просто она живо чувствовала людей и для каждого человека имела свою манеру обращения. Вот, например, если видела человека с дарованием, но съедаемого неуверенностью в самом себе или с расшатанными нервами, или со слабостью воли, как умела она его ободрить, обласкать, развернуть перед ним все перспективы его жизненных возможностей! Вот, например, с Русановым: «Милый наш, славный, умный Николай Сергеевич! Да ничего вы не бойтесь, мы с вами, — и она лукаво улыбалась, — не только Плеханова, но и самого Лаврова за пояс заткнем! Работайте, не оглядываясь ни на какие авторитеты, веряйтесь безоглядно своей интуиции — благо она у вас здоровая, свежая, правильная. Нужды нет, если бы даже какой-нибудь ученостью {174} — нашему ли Лаврову, или даже заморскому Марксу — вздумалось подавить вас своей ученостью: мы с вами знаем, что ученость — дело наживное, а работать-то мы с вами умеем, не так ли? А вот чутье жизни, интеллектуальная честность с собой да еще сила характера — умственного характера — даны не всякому. Самые записные мудрецы иногда оказывались и оказываются мастерами перемудрить самих себя. Будьте верны самому себе, и тогда я предрекаю вам полезное и яркое будущее...».

— Не означает ли это, что она умела брать людей, внушая им «нас возвышающий обман», то есть повышенное мнение о самих себе?

— То есть, вы хотите сказать — лгала их самолюбию? Что вы! Повышенное мнение о самих себе — это она, так сказать, прописывала вроде лекарства — только людям с робкою мыслью или страдающим болезнью самоуничижения. Это для нее было как бы заводным ключом для пуска их в ход.

Но вот возьмем хотя бы старейшину нашего, Петра Лавровича. К нему ведь считали своим долгом являться на поклон чуть не все сколько-нибудь свободомыслящие из попадавших в Париж русских туристов. Перед ним не скупилась воскурять фимиам. И хоть Петр Лаврович никогда не имел вкуса ни к самолюбванию, ни к почиванию на лаврах, но Мария Николаевна всегда очень настороженно держалась по отношению ко всем этим «паломникам»: «Им бы, — брезгливо твердила она, — католиками быть и ездить в Рим целовать папскую туфлю; а они зря отнимают у Петра Лавровича его драгоценное время, когда годы его жизни сочтены, а основной труд всей его жизни — „Опыт истории мысли" — не доведен и до середины». Петра Лавровича она очень любила, и в этом сходилась с Германом Лопатиным. «Ведь это наше общее бесценное ученое сокровище», — повторяла она; но оба они Лаврова любили совсем особой, требовательной любовью: Мария Николаевна иногда принималась за него вплотную, особенно если он оказывался тяжеловат на подъем или по-стариковски упрямился.

«Петр Лаврович, побойтесь Бога. Сколько месяцев мы с вами бьемся над программой „Вестника", и все ни с места: где-то надо переправить еще йоту, еще черту, еще запятую. Да бросьте же вы этот книжный педантизм! Это у вас время терпит, над вами не каплет; а над товарищами в России и гром, и молния, и ливни, и места сухого не осталось! Довольно вам отставать от жизни. Ведь это же недостаток политического чутья! Верьте мне, перед ними

нечего вам прятаться за спины авторитетов и подкреплять свои мысли бесконечными цитатами. Они вам и без цитат верят, особенно когда ваше слово само за себя говорит. И не для чего вам бояться, что когда-то вы о том или другом думали и сказали не совсем так, как сейчас вам думается и „говорится“. Вы вправе менять ваши взгляды, потому что вы живой человек, а не мумия. Да и не вам, с вашим-то теоретическим багажом, робеть за каждый новый поворот ваших мыслей. А затем, так ли уж непосредственно для их практики важны {175} все эти самые всеобщие отвлеченные ваши обобщения?

Согласна, теория есть схваченная в обобщениях наша собственная практика, а практика наша — примененная к делу теория. Но какая все же дистанция между той и другой, и сколько переходов, соединительных между ними звеньев! Вот в Швейцарии Жорж (это она о Плеханове говорила) меня уверял, будто лучше марксизма основ для „Народной воли“ не найти. Если не сочинял, так правда. Зачем я ему стану возражать? Другие предпочитают дюрингианство. Пусть они спорят, сколько их душеньке угодно, друг с другом, только бы не разрывали своими спорами боевого строя. Ни на Марксе, ни на Дюринге социалистическая мысль все равно, наверно, не остановится. И никакой в этом беды я не вижу. А если бы оказалось, что все пути ведут в Рим — к „Народной воле“? Так тем лучше! Жизнь никогда мыслью исчерпана до конца быть не может; а коли так, то ищите формул менее застывших, более гибких и не бойтесь свободы их истолкования: это путь к новой живительной умственной инициативе. Не вы ли нас издавна учите, что абсолютной истины нет, что есть лишь истина для человека, истина относительная, тесно связанная с условиями времени и места? Дайте же простор этому динамическому началу и учите людей именно им оживотворять и оплодотворять свою практику — для нас практику революционной борьбы: тут и ныне, и присно — альфа и омега, начало и конец!» Вот и пожалуйте: тут была вся она, наша Мария Николаевна, такой ее и берите, или не для чего вам было с нею и знать.

— И как же реагировал на это Лавров?

— В конце концов с обычным для него добродушием, хотя стремительная атака Марии Николаевны заставляла-таки его провести с четверть часа, как на горячих угольях. Но он отлично знал, что ее критика — любовно-дружеская. Надо вам сказать, что в доме Петра Лавровича не было от нее никаких секретов, что в практических делах никому он так охотно не вверялся, как именно ей — вверялся, зажмурив глаза. И после ее кончины то же значение — наиболее влияющего на него человека, без совещания с которым Петр Лаврович не предпринимал ничего важного, — перешло к ее мужу, Илье Адольфовичу Рубановичу. К его политической выдержанности и твердости Петр Лаврович питал доверие почти безграничное...

— А Рубанович, в свою очередь, — такое же доверие к Ошаниной?

— Но это же не удивительно. Во-первых, Ошанина была старше его ровно на десять лет. Во-вторых, революционный стаж ее был совершенно исключителен. Знаете ли вы, что Ошанина была единственной женщиной, участвовавшей в так называемом Липецком съезде?

(Липецкий съезд — нелегальное собрание части членов народнической организации «Земля и воля» в июне 1879 г. в Липецке. Был созван в обстановке обострения разногласий среди революционных народников по вопросу о дальнейшем направлении деятельности организации. В съезде участвовали А. Д. Михайлов, А. А. Квятковский, Л. А. Тихомиров, Н. А. Морозов, А. И. Баранников, М. Н. Ошанина, А. И. Желябов, Н. И. Колодкевич, Г. Д. Гольденберг, С. Г. Ширяев, М. Ф. Фроленко, которые решили внести в программу «Земли и воли» признание необходимости политической борьбы с самодержавием как первоочередной и самостоятельной задачи. Участники съезда объявили себя Исполнительным Комитетом социально-революционной партии и приняли устав, основанный на централизме, дисциплине и конспирации. Исполнительный Комитет в случае согласия общего съезда землевольцев в Воронеже с новой программой должен был взять на себя осуществление террора. После раскола «Земли и воли» на Воронежском съезде (июнь 1879) Исполнительный Комитет положил начало новой организации — «Народная воля».)

{176} В этом судьбоносном совещании, закончившем созревание внутри «Земли и воли» нового направления? В сговоре, подготовившем завтра превращение народничества — в народовольчество? А когда петербургский состав Исполнительного Комитета почувствовал, что его существование висит на волоске и дни его сочтены, — кого же, как не ее, вместе с прекрасным человеком и оратором, Теллаловым, назначил Желябов представителями Исполнительного Комитета перед сколоченным их трудами сильным московским центром? И кого же, как не Ошанину, проводил он туда назад словами-завещанием: «Помни, если твоя Москва не выручит — будет плохо». Но не выручила и Москва, и ее уже подстерегала участь Петербурга... Ошанина и ехала туда без больших надежд, ехала, как солдат, посланный своею грудью загородить пробитый неприятелем в стене пролом...

— Но в Москве не погибла и спаслась за границу?

— Не она спаслась, а мы почти силком заставили ее принять экстренную командировку за границу. И смогли заставить лишь потому, что и пережитая ею тяжелая личная трагедия, и свалившая ее с ног не менее тяжелая болезнь превратили ее в беззащитное, немощное существо. Дело было вот как. Сначала Ошанина вместе с художником Прозоровским, — а на самом деле то был Богданович, он же Кобозев, — да, тот самый, из сырной лавки с подкопом под железнодорожным полотном для взрыва царского поезда — держала штаб-квартиру Комитета на Каретной Садовой. Когда болезнь свалила ее с ног, мы отселили ее в особую меблированную комнату; но и там ей не было покоя от бесчисленных посетителей — так всем было трудно обойтись без ее совета и без ее ободряющего слова. Будь на воле среди нас Александр Михайлов, как нам досталось бы за такую преступную неосторожность! Разве можно допускать, чтобы незаменимая, но скованная по рукам и ногам болезнью работница, которую надо было изолировать и поставить на ноги, дав ей необходимый уход и лечение, — была связующим звеном и центром самых оживленных конспиративных связей?

Мы и сами это понимали, и я первая {177} с величайшей готовностью посвятила бы себя ей. Но на плечах моих и Суровцева была тайная типография «Народной воли», бросить ее мы не могли, и заменить нас было некем. И так во всем: мы были в тупике. Не то чтобы движение перестало шириться: и среди молодежи, и в передовых кругах рабочих появлялись «молодые побеги от старых корней», но и для их инструктирования, и для объединения во всероссийском масштабе не стало «центральных людей». И отовсюду шли требования: если не можете давать нам личного руководства центра, создайте нам по крайней мере печатный орган — не листок, не газету, а серьезный теоретический толстый журнал, ставящий перед нами все идеологические проблемы социалистического движения, их разрабатывающий, уясняющий все: и нашу программу, и тактику дня. Но такой журнал можно было иметь лишь за границей; сам собой там создаться он не мог; нужна была специальная поездка подходящего человека, наделенного самыми широкими полномочиями. Кому можно было все это доверить? Имя Ошаниной было на устах у всех. Больше послать было некого; да и оставить ее в Москве в ее состоянии тоже немислимо. Дело было только за тем, чтобы, перемогаясь, она смогла как-нибудь добраться до Женевы или Парижа.

— Вы упомянули о какой-то ее большой личной драме?.. Могу я спросить...

— О да. Знаете, революционерам тех дней редко и ненадолго выпадала улыбка личного счастья. Мария Николаевна думала, что нашла его в одном из тех слишком ранних и случайных браков, — я их зову «скоропостижными», — без завтрашнего дня. Она стала Ошаниной. Но, — говорит старинный поэт, — «в одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань», а юноша-муж, неплохой малый, совсем не годился на роль боевого скакуна; и не Марине Николаевне, а ему пришлось оказаться «трепетной ланью». Он где-то на ее жизненном пути и отстал. И я уж не знаю, где, как и почему, — только очень скоро он умер. Так или иначе, но лишь в 1879 году на «вдове Ошаниной» — ей было тогда лет под 30 - в Орле женился Ипполит Константинович Кошурников: под этим заемным именем

проживал один из самых замечательных наших террористов, Александр (Мария Николаевна звала его «Сандро») Баранников.

По отцу он был великорус, по матери — кавказский горец: настоящий тип революционного ударника из «батальона смерти». Подобно герою «Что делать?», он, чтобы разорвать все былые свои жизненные связи и замести за собою все следы, симулировал самоубийство и числился утонувшим. Будучи народником лавристом, он побывал в разных местах и батраком, и грузчиком, и рыболовом, и косарем, и молотобойцем. Покинув деревню и вступив в «Народную волю», вслед за своим другом Александром Михайловым, он оказывался везде, где была самая тяжелая и рискованная работа. В деле убийства Мезенцова {178} он вооруженною рукою прикрывал отступление и побег Сергея Кравчинского-Степняка; вместе с Михайловым рылся, как крот, в узеньком, местами залитом ледяною водою подкопе под полотном железной дороги для взрыва царского поезда; вместе с ним погружал под Каменный мост, для его взрыва при проезде царя, гуттаперчевые подушки с динамитом; при попытке освобождения Войноральского он, конный в мундире жандармского офицера, остановил увозившую его повозку, подстрелив жандармского унтера. Более целеустремленной натуры и более совершеннейшего энтузиаста я не видела и не увижу. Он исповедовал, что хорошо умереть в полном расцвете сил, не ведая ни спуска, ни упадка; что в нашей России два столба с перекалиной достойны быть светлою точкой, к которой человек с душой пойдет радостно твердою стопою. Схваченный и заточенный, он ждал виселицы; каким-то чудом ее избег; но его богатырская натура не могла сжиться со стенами крепости, и он погиб в августе 1883 года; оттуда дал знать родным, что считает жизнь свою — счастливой; он ценил ее во всей полноте; знал борьбу, успехи и поражения, большие радости и горести, великие напряжения воли; нашел удовлетворение всех стремлений и желаний и оставил единомышленникам и друзьям единый завет: «Живите и торжествуйте; мы торжествуем и умираем».

Взволнованная Галина Федоровна остановилась. Я был взволнован не меньше нее. Кажется, она смахнула слезу.

— Вы понимаете: они были как будто рождены друг для друга. Короткие месяцы пожаром вспыхнувшего счастья. Полнота гармонического слияния боевых натур. Оба прямо со свадьбы близ Орла помчались прямо в Липецк. Знаете, что я вам еще расскажу. На работу по освобождению Мышкина, Ковалика и Войноральского вместе с мужчинами, непосредственными исполнителями, для всей основной организационной подготовки дела, выехали две женщины; то были Ошанина и София Перовская. Обе оказались на высоте задачи. Но стиль их работы был разный. Перовская всю работу провела на туго натянутых нервах, всех изумляя способностью держаться на ногах после бессонных ночей и расплачиваясь за все бледностью и худобой своего по-русски округленного личика. А Ошанина изумила всех другим: даже проводив за город, на дерзкое вооруженное нападение всю группу, включая и своего «Сандро», она аккуратно все убрала, приготовилась к встрече и сокрытию освобожденных, улеглась и проспала крепким, здоровым сном до самого конца предприятия, до возвращения претерпевших в стычке с конвоем неудачу нападавших.

Ее за это иные, вроде Льва Тихомирова, сильно осуждали, ссылаясь и на Александра Михайлова. Но представьте себе, что ее Сандро был тоже вроде нее: после заседания военного суда, перед оглашением приговора — ожидалась, конечно, смертная казнь — он тоже преспокойно заснул, и его пришлось разбудить, чтобы он узнал {179} об ожидающем его вместо казни вечном заключении в Шлиссельбурге. Да, они созданы были друг для друга. Он был строен и красив, атлетического телосложения. Взгляд его черных глаз, с мрачноватым оттенком, обладал гипнотизирующей силой; смугло-матовое, словно без единой кровинки, лицо, окаймленное шевелюрой цвета воронова крыла, производило огромное впечатление, особенно на женщин, у которых отношение к нему доходило до

поклонения. Вера Фигнер, восхищаясь им, говорила: «По смелости и отваге это был настоящий герой, и если в ком-нибудь можно было увидеть воплощенного ангела мести, так это именно в нем». Ошанина вызвала однажды всеобщий дружный смех, когда при обсуждении вопроса о том, кого послать на одни очень важные переговоры, предложила: «Обязательно двоих: Тараса (кличка Желябова), чтобы убеждать, и Сандро — чтобы устрашать». А такой скупой на похвалы человек, как Александр Михайлов, высказался о нем в таких выражениях: «Баранников рыцарь без страха и упрека, служитель идеала и чести. Его открытое гордое поведение так же прекрасно, как и его юношеская душа...». То была редкостная пара. Ведь и Ошанина была очень красива... Вот, взгляните — это ее карточка, когда она уже жила здесь, под именем Марины Полонской.

Галина Федоровна подвинула ко мне стоявший на ее столике в рамке небольшой портрет и прибавила:

— Конечно, эта поздняя фотография дает лишь отдаленный намек на ее красоту в молодости. Здесь она — только тень самой себя. Но взгляните в эти тонкие, изящные черты лица. Мысленно оживите эти глаза — они у нее были томные, с поволокой. Представьте себе затаившуюся в углах ее красиво очерченных губ лукавую улыбку. Вера Фигнер, Мария Ошанина и, позднее, Анна Корба — это были три красавицы в Исполнительном Комитете...

Она отставила назад на столик дорогой ей портрет и усталым, глухим голосом продолжала:

— Личное счастье революционера — драгоценный, но редкий и хрупкий сосуд. Несколько месяцев яркого счастья — и все вдребезги. Попал в полицейскую сеть и Баранников. Потерян товарищ, друг и муж, без надежды когда-либо свидеться. Даже нежданно избегнув виселицы по приговору, он дожил лишь до августа 1883 года, когда стал жертвою каторжного режима Шлиссельбурга. Жена его, по-прежнему травимая полицией, не могла с ним даже обменяться весточкой. С надломом в душе, тая за плотно сжатыми губами неопишемую скорбь, она нашла в себе силы перебраться с тяжелым багажом наших поручений во Францию. Что она там, мы узнали лишь потому, что пришло в движение и завертелось все быстрее колесо эмигрантской работы: в наши руки попадал «Вестник», брошюра «На родине», замечательный «Календарь „Народной воли“», большой сборник бессмертных герценовских памфлетов из «Колокола».

{180} Вскоре командирована была за границу и я — как агент Исполнительного Комитета, от которого тогда уже оставались лишь «рожки да ножки». Прямо из поезда угодила на чрезвычайное совещание. Там кроме нас двоих был Лавров, которого Марье Николаевне удалось сделать официально объявленным «союзником „Народной воли“», был Тихомиров, еще вчера без согласия партии покинувший свой пост дезертир, а ныне снова готовый встать в числе партии за границей; было три-четыре известных по прошлому эмигранта (Русанов, офицер Эспер Серебряков, Лазарь Бух, Салова) и новый для меня, но сразу приковывавший к себе внимание Рубанович. Я жадно расспрашивала Серебрякова, как нашел он Ошанину, но он, обычно словоохотливый, отделался от моих расспросов грустной фразой: «Разве орлицу можно описывать, глядя на нее в неволе, в тесной клетке!». Мне собственными глазами пришлось увидеть, как ей трудно приходилось меж двух огней: между двух знаменитостей. Одна — заграничная: ученый философ, нетвердый в делах практического революционного руководства и нашу программу принявший «в кредит», а кое в чем и скрепя сердце. Другая — русская: все еще блестящий публицист и памфлетист, но насквозь — размагниченный эпигон, дезориентированный неудачами партии, а еще больше — собственными жизненными невзгодами, колеблемый между затыжными припадками самоуничтожения и острыми вспышками мании величия.

«Встать во главе движения не способен ни тот, ни другой, а заменить их тоже некем», — сухо и хмуро отозвалась обычно такая живая и стремительная Мария Николаевна.

И сжато поведала мне о том, как долго она — с фонарем Диогена в руках — тщетно по всей эмиграции «искала человека». Я ее расспросила, не встречала ли она тут Абрама Баха, который в России произвел на меня беглое, но очень внушительное впечатление. Она только рукой отмахнулась: «Спору нет, очень умен, с умом, отточенным точными науками, методическим, а порою и самостоятельным; видны и самообладание, и уравновешенность, и характер; но силен лишь в критике, склонен к скептицизму, положительного почти никогда ничего не даст; ум озлобленный, раздражительный, всего на один шаг от тихомировской разочарованности и презрительности; а что же можно выжать из саркастически-ледяных оценок: „Проклятый мир! Презренный мир!“». Гораздо выше его нашла она Германа Лопатина; дружила с ним; он из Лондона слал ей отчеты о своих беседах с Марксом и Энгельсом, необыкновенно высоко ставившими постановку политических задач у народовольцев, а письмо Исполнительного Комитета к Александру III считавшими настоящим шедевром государственного смысла. В Лопатина вглядывалась она долго: человек блестящих личных качеств, веский и четкий докладчик любых проблем, остро умен, едкий и саркастический спорщик. В образованности уступит только Лаврову. Уверенности в себе — хоть отбавляй; верит в {181} «свою звезду» и охотно бравирует опасностью. Дайте ему арену открытой политической деятельности в европейском масштабе, — и он покажет, что именно из такого теста и лепятся парламентские трибуны и лидеры. Но у нас, где все это надо еще подготовить и создать...

Нет, им можно любоваться, как «удалым добрым молодцом», с которого Глеб Успенский хотел рисовать героя никогда им не написанного романа, но вы ему никогда не докажете, что в революции «один в поле — не воин», что мы сильны своим неразложимым боевым братством. Он — вольный казак, дерзкий партизан, для него никакие законы партийной дисциплины не писаны. Этот балагур и парадоксалист просто ошеломил нас всех: «Хорошо, я присоединяюсь к партии... на федеративных началах!». Только Петр Лаврович даже и бровью не повел: но ведь он в Лопатина всю жизнь был влюблен, как девушка, ну, и Лопатин его любил как никого; по годам годился ему в сыновья, а любил его, как нянька. Да, Мария Николаевна уже тогда, перед снаряжением в Россию целой группы с Лопатиным во главе, которую постигла такая злополучная участь, страшно волновалась, полная и тайных надежд, и трепетного беспокойства. Ждала — кто, если не Лопатин, способен дать тот мощный толчок к возрождению партии, который мог бы спасти положение? И все же пророчила: «Если даже вернется с триумфом, назавтра же он с партией распротится. Скажет: мое дело кончено, вы не потонули, вы спаслись, ну и живите сами по себе, а я останусь сам по себе. По натуре он — бродяга и гастролер. Партии бесконечно нужна сейчас центральная руководящая фигура, вдохновитель, полководец, но Лопатин... нет, это не то, не то, не то...».

Мария Николаевна принялась зорко присматриваться к молодежи: не выдвинется ли из нее какая-нибудь новая, свежая сила — богато одаренная и волевая? Зажгла свой фонарь — «искала человека». Ее внимание в конце концов приковал к себе И. А. Рубанович. Тогда недавно еще юноша, политически не отшлифованный, неровный, импульсивный, он требовал большой работы над ним, но в нем уже угадывались данные, обещающие многое. Она не могла не загореться желанием все силы свои посвятить на то, чтобы сделать из него достойную смену старым, постепенно выходящим из строя лидерам эмиграции. А работать над людьми она умела. По мере того как он рос, она привыкла смотреть на него как на свое духовное детище: тут был элемент или, если угодно, суррогат чисто материнского чувства.

Она пыталась быть его старшей сестрой-другом, Эгерией его политического восхождения. А потом явилась новая наслойка чувств, более нежных, роднящих больше сестры и матери. Право уж, не могу вам сказать, какой из этих видов привязанности был первичнее и определял тон других. И какая в этом важность, если в конце концов {182} все они слились в единое и нераздельное чувство, захватившее ее целиком и без остатка?

А Рубанович? Конечно, она была десятью годами старше его, но эта разница покрывалась ее блестящей личностью и ее почти не тронутым рукою времени женским очарованием. Рубанович не мог не глядеть на нее снизу вверх: недавний новобранец «Народной воли» лицом к лицу с одной из ее героинь, оваянной ореолом живой легенды, и было более чем естественно, что он стал ее обожать и боготворить. Как-то раз, вспоминая вместе со мной страшное время разгрома Исполнительного Комитета и отчаянных попыток московского центра заместить его, Мария Николаевна вдруг выговорила: «Будь с нами тогда Рубанович, каких бы дел наделали мы вместе с ним! А теперь... не тяготее ли уж и над ним, и над нами проклятие эмигрантского бытия? А вдруг для заграницы он остался чересчур русским, а для России стал чересчур иностранцем?». Мы не могли для себя разрешить этого вопроса. Он будет разрешен в рядах вашего, только что начавшего выходить на историческую арену поколения. Полонская-Ошанина умерла, так его и не увидев. А Рубанович еще войдет в его ряды, навсегда сохранив в себе благородную память о том, как много внесла в его жизнь эта редкостная по своему умственному и нравственному облику женщина.

С детства отличавшаяся хрупким здоровьем, уже в Москве совсем больная, обреченная долго биться в безнадежных попытках заграничного возрождения «Народной воли», эта замечательная женщина умерла на рубеже 1897 и 1898 годов. Легко себе представить, какую зияющую пустоту оставила она в жизни Рубановича. Прошло еще несколько лет — и на него обрушился новый удар: кончина П. Л. Лаврова. От потери таких друзей было от чего духовно осиротеть. И лишь через несколько лет он оправился, «выпрямился» и воскрес к новой жизни.

Конец 1900 года был в России ознаменован благополучным окончанием переговоров о слиянии двух главных эсеровских группировок — северной и южной — в единую объединенную партию социалистов-революционеров. В течение первой половины следующего года этот основной объединительный акт был довершен присоединением целого ряда более дробных родственных группировок, в том числе самостоятельной Рабочей партии политического освобождения России* и части организаций, носящих дотолде имя социал-демократических, {183} но в объединенную Российскую социал-демократическую партию не входивших и выпускавших свой собственный нелегальный орган «Рабочее знамя»**.

(*Рабочая партия политического освобождения России — организация народническо-эсеровского направления, возникшая в конце 1890-х гг. в Минске. Объединяла до 40 рабочих кружков (около 200 участников), имела филиалы в Белостоке, Екатеринославе, Житомире и некоторых других городах. Большое влияние на работу организации и взгляды ее руководителя Л. М. Клячко (Родионовой) оказали Г. А. Гершуни и Е. К. Брешко-Брешковская. Выдвигала задачу завоевания политической свободы путем главным образом террористической деятельности. Весной 1900 г. организация была разгромлена охранкой. Сохранившиеся кружки в 1902 г. влились в объединенную партию социалистов-революционеров.)

(**«Рабочее знамя» — название нескольких социал-демократических групп в России (Петербург, Белосток, Киев, Гродно, Каунас и др.), возникших в 1898 г. и существовавших до 1902 г. Члены групп выступали против ограничения рабочего движения экономической борьбой, призывали пролетариат к активным политическим действиям, но в организационном плане отрицали нейтралистский принцип построения партии. Связи между группами не были регулярными. За время своего существования группы издали три номера газеты «Рабочее знамя». В 1901 г. часть членов групп примкнула к ленинской «Искре», а другая часть — к партии социалистов-революционеров.)

Одновременно состоялась поездка за границу великого русского революционера-террориста нынешнего столетия Григория (Герша) Гершуни. Ему удалось провести подобную же объединительную работу и среди эмиграции. Но на всем этом, как на личности самого Гершуни, придется остановиться особо. Пока же достаточно отметить, что по завершении эсеровского партийного объединения естественно стал вопрос об оформлении

связей партии с интернациональным социализмом и вообще об ее заграничном представительстве. Логика вещей выдвигала на пост такого представителя, или, как мы говорили полушутя между собой, «министра иностранных дел партии», Илью Рубановича. Он был близок к партии уже со вступления в ряды Аграрно-социалистической лиги, в партию же формально вошел в составе редакционного коллектива самостоятельно возникшего теоретического журнала русского социализма «Вестник русской революции», начатого им вместе со своим ближайшим другом и единомышленником Н. С. Русановым.

Рубанович взялся за дело со свойственной ему энергией. Он воспользовался первым же подходящим случаем — открытием на кладбище Монпарнас памятника П. Л. Лаврову — и привлек к участию в этом торжестве все три основные группировки французского социализма. Говорили речи: зять Маркса и член Парижской коммуны Лонге от французской социалистической партии (пытавшейся тогда объединить разрозненные социалистические силы), маститый лидер и вдохновитель так называемых «бланкистов» Эдуард Вайян и один из крупнейших «гедистов» (чистых марксистов) Брак. На русскую эмиграцию произвело большое впечатление то обстоятельство, что из уст этих трех иностранных борцов за социализм раздались речи прежде всего о большом международном значении широкого историко-философского обоснования социализма Лавровым, сочетавшим строгий теоретический реализм с высоким практическим идеализмом; затем воздание Лаврову чести за его готовность, несмотря на весь {184} предыдущий скептицизм по отношению к так называемой теоретической борьбе, подчинить свои личные политические предпочтения дисциплине партии «Народной воли» как единственной реальной партии действия, вступившей в непосредственную революционную борьбу против столпов монархического режима. Было радостно и ново еще и то, что устами тех же французских вождей социализма толпа наводнивших кладбище демонстрантов была призвана чествовать со всем подобающим энтузиазмом имена первых ударников нового «легиона смерти», потрясающего устои русского царизма — героя партии социалистов-революционеров Степана Балмашева и героя еврейского рабочего движения Гирша Лекерта.

В этом первом выступлении Рубановича громко и твердо прозвучал лейтмотив всех его выступлений: «ПСР является и желает оставаться фракцией интернационального социализма. Она связана прочными и неразлучными узами с первоисточником социализма, с интересами трудящихся и угнетенных; и молодежь, беззаветно идущая на святое дело пропаганды социализма, агитации среди городского и сельского рабочего люда, составляет столь же органическую составную часть нашей организации, как те исключительные личности и группы, которые в исключительных условиях, переживаемых теперь Россией, берут на себя задачу непосредственной военной борьбы с вооруженным врагом, остающимся глухим к требованиям жизни и цинически им противопоставляющим одну голую, грубую силу».

За этим скоро последовал «Манифест к свободной Франции» — смелое и открытое слово, врезавшееся в шумливую вакханалию «франко-русских торжеств» по случаю визита президента Эмиля Лубе к русскому царю ради закрепления союза великой европейской республики и последней цитадели европейского абсолютизма. С беспощадной откровенностью развернув картину режима, которым самодержавие утверждало свою, уже подрываемую революцией полноту власти над подавленным, измученным и униженным народом, манифест говорил: «И в такой момент президент великой Франции, завоевавшей для всего мира принципы свободы, братства и равенства, братается с безвольным деспотом, залитым слезами и кровью своих подданных; жмет руку русским министрам, презираемым и проклинаемым своею страной; принимает участие в безумно пышных торжествах и пиршествах, устраиваемых на деньги, вырученные от продажи последней рубахи и последней коровы голодающего мужика; разъезжает, эскортируемый казачьей сотней, на нагайках которых не успела еще засохнуть кровь избитых граждан...

Когда из нужды, за деньги продает себя женщина, мы испытываем к ней чувство жалости. Но какие чувства должны испытывать мы, когда из-за ложно понятых, узкокорыстных интересов чистая Франция вступает в позорную связь с представителями восточной деспотии, грозящей {185} своим тлетворным дыханием отравить европейскую свободу и цивилизацию?».

Эти слова Рубановича о «тлетворном дыхании» оказались пророческими. И года не прошло, как русское правительство попробовало реализовать свой возросший благодаря союзу с Французской республикой международный престиж, грубо наложив свою руку на традиции демократической свободы, обеспечивавшей русским революционерам приют в передовых странах тогдашней Европы.

В обычной хронике европейской прессы, теряясь среди новостей спорта, театра, техники, взаимных визитов членов династий, среди взаимных явных любезностей и подспудных взаимных подсиживаний сановных дипломатов, сначала почти не замеченными прошли в газетах две-три строчки об аресте в Италии какого-то русского, не то «нигилиста», не то анархиста, с безвестным для мира коротким именем «Гоц». Но для нас, русских социалистов-революционеров, и для нашего главного штаба в Женеве эти две-три строчки телеграфного агентства прогремели, как разразившийся под нашими ногами взрыв бомбы.

В личности человека, носившего это краткое и незвучное имя, как в своем естественном центре, сосредоточивались все нити политической работы партии. Арест его косвенно означал возможность такого же ареста всего центра, то есть угрозу самому нашему делу как таковому. Особенно, когда вскоре пришло новое, еще более тревожное известие — о требовании, предъявленном русским правительством, о выдаче ему Гоца.

Мы почувствовали себя отброшенными к временам, когда именно такое требование было русским правительством предъявлено к правительству Французской республики — по отношению к бежавшему из России представителю Исполнительного Комитета «Народной воли», Л. Гартману. Это покушение на «право убежища», признанное всеми передовыми европейскими странами в пользу борцов за свободу в «старорежимных» государствах, тогда удалось отбить.

В книжке И. Рубановича «Иностранная пресса и русское движение» он писал о тех годах: «Французская радикальная пресса шумно выражала одобрение русским революционерам, в которых видела достойных преемников героев Великой французской революции». Рошфор, ныне валяющийся в ногах русского царя, с гордостью писал тогда, что имел счастье пожимать руку Вере Засулич и не иначе называл царя, как «Всероссийским Вещателем». Радикальные адвокаты писали мемуары, защищая право убежища в пользу русских эмигрантов. Лавров имел аудиенцию у президента палаты депутатов Гамбетты, которому напоминал о «чести Франции». И еще у всех было в памяти, с какой энергией и повелительной силой отстоял Гартмана «великий старец» Виктор Гюго.

{186}

Но царское правительство рассчитывало, что с тех пор времена переменились, да и к тому же королевская Италия, может быть, окажется податливее, чем республиканская Франция. Царская дипломатия явно ошиблась в своих расчетах. Требование выдачи Гартмана все же опиралось на то, что этот последний лично и непосредственно участвовал в покушении на жизнь русского царя. А Гоц? Он покинул Россию за полтора года перед выстрелом Балмашева, и ничего, кроме весьма отдаленной и косвенной связи с организаторами его акта, русская полиция даже и не пыталась доказать. Такая попытка ею была сделана, но ее юридическая убедительность впоследствии была совершенно расштана на итальянском суде...

Мы немедленно подняли тревогу и связались с Рубановичем. Для него наступил момент заработать себе шпоры в ответственной борьбе за наше право пользоваться свободными учреждениями Европы ради приобщения к ним и нашей огромной родины. И он проявил все свойства первоклассного политического борца. Он тотчас же выехал в Италию и явился туда во всеоружии: с мандатом особо уполномоченного ПСР, с удостоверением Интернационального социалистического бюро о том, что М. Р. Гоц не является и никогда не являлся «анархистом», и с рядом рекомендательных писем от Клемансо, Жореса и других видных французских парламентариев, обеспечивавших Рубановичу братский прием у родственных деятелей передовой Италии, а Гоцу — их энергичное заступничество. И первый же шаг, предпринятый Рубановичем по приезде, был чрезвычайно удачен: судебную защиту М. Р. Гоца принял на себя блестящий адвокат и ученый-криминалист, лидер социалистической партии Италии Энрико Ферри.

Социалистическая фракция итальянского парламента с Турати во главе немедленно перенесла дело в парламент, бурное заседание которого приняло для правительства характер громкого политического скандала...

В стране откликнулись многочисленные ассоциации, общества, муниципалитеты и университеты; редактировались и покрывались тысячами подписей петиции; принимались резолюции протеста. На большом конгрессе учителей в Риме с более чем 2500 делегатов Рубановичу и Ферри была устроена грандиозная овация; а созданный в Милане митинг протеста завершился уличной демонстрацией перед зданием русского консульства, причем в консульстве были разбиты окна и сорван русский флаг. В Неаполе во избежание повторения чего-либо подобного власти мобилизовали множество полицейских, карабинеров и штатских агентов, в подкрепление которым было дано даже два батальона пехоты. В Риме префектура должна была прибегнуть к исключительной мере: временному запрету митингов вообще...

{187} Выдача Гоца была судом отвергнута, и он был выпущен на свободу без всяких условий и оговорок. Тем самым аннулировано было и первоначальное административное распоряжение о высылке Гоца из Италии. Более полной и блестящей победы нельзя было и придумать...

Блестящий итальянский дебют Рубановича в борьбе за право русских политических изгнанников на продолжение своей политической деятельности за рубежом раз и навсегда предопределил его дальнейшую жизненную судьбу. Молодой приват-доцент химии, каким его застала новая миссия — политического представительства ПСР за границей, — не прекратил своего курса лекций в Сорбонне; в этой научно-педагогической работе продолжала находить свое жизненное воплощение французская половина его души; но русская половина отныне целиком отдается активной политике.

И. А. Рубанович всегда отклонял как предложения поставить свою кандидатуру в члены палаты депутатов в одном из избирательных округов Франции, так и проекты сменить профессию в Сорбонне на кафедру в одном из русских университетов (когда в эпоху Временного правительства представлялась практическая возможность). Он хотел крепко держаться и дальше за свое русско-французское двуединство, лишь четко разграничивая сферы применения обоих его элементов. Однако вне этого двуединства в нем оставался неисчерпанный «третий элемент» его духовного существа: неразрывная эмоциональная связь его самосознания как еврея, и притом еврея, не желающего подавлять в себе своего еврейства. Рубанович всегда в этом вопросе занимал очень твердую позицию.

«Закон исторического развития наций, — говорил он, — есть закон прогрессирующей интернационализации всей их жизни. Но прошло то время, когда эта интернационализация совершалась — на верхушке общественной пирамиды — путем отмирания глубоких на-

циональных корней. Такое отмирание создавало лишь поверхностный, оранжерейный „космополитизм" баловней жизни, людей „социального белья". Здоровая сердцевина нации живет не оскудением своего национального культурного инвентаря, но органическим его преобразованием или „мутацией".

К этому процессу прилагают свою руку и смешанные браки, и взаимная ассимиляция, и сращение начальных культурных напластований в высшие соединения. Расширяются и самые границы того, что считается „национальностью". В России едва ли не первым робким шагом прогресса в этой области было так называемое „славянофильство": в нем русское растворялось в общеславянском, и общественность утверждала себя лицом к лицу с государственностью. На Западе процесс этот продвинулся еще далее. Можно сказать, что уже теперь на Западе наряду с патриотизмом немецким, английским, французским родился общеевропейский патриотизм, общеевропейское самосознание. Мне не раз {188} приходилось встречаться с людьми этого типа, — рассказывал мне Рубанович. — Их все еще держит в плену национализм, только он становится расширенным, соборным национализмом. Это все же — шаг вперед; только надо, чтобы он не заслонял собою дальнейшего пути. Надо помнить: как в „общерусском" тонули всевозможные локальные, „земляческие" патриотизмы, так и над всеми нынешними „соборными национализмами" в грядущем возвысится все объединяющий патриотизм вселенский».

«Здесь я готов был бы даже согласиться с Жоресом, — прибавил Рубанович, тайной слабостью которого была всегда известная доля недоверия к великому французскому трибуна, — что только первые шаги в сторону национального начала отчуждают, уводят от человечества, но дальнейшие полнее к нему возвращают». И прибавлял: «В этом нет ничего нового для нас, учеников Лаврова, так хорошо понявшего закон жизни новейшего общества — закон непрерывной социализации и интернационализации этой жизни. Оговорка здесь нужна только — та самая, которую Герцен подчеркивал в спорах с Бакуниным. Верую и исповедую: история беременна интернационализмом. Только из первого месяца беременности не перепрыгивают сразу, сломя голову, прямо в девятый».

Выдвинутый нами на пост представителя партии в Интернационале, Рубанович прежде всего сделал нам доклад о тех трудностях, которые ожидает он встретить на своем пути.

Современная организация Интернационала страдает отсутствием простоты, последовательности и логической безупречности. Это что-то переходное и внутренне противоречивое. Не таков был I Интернационал, Интернационал самого первооснователя, Маркса; но беда в том, что теперь он невозможен. Он был по своей форме чем-то вроде единого централизованного вселенского полутайного общества: в него можно было входить персонально, и персонально же быть из него исключенным — как то было, например, с Бакуниным.

Наш II Интернационал, воссозданный в 1889 году, стал сразу на совершенно иные рельсы. На отдельных лиц его компетенция совсем не простирается: она целиком отдана отдельным национальным партиям. Сам Интернационал отныне лишь демократически организованное сообщество этих партий, сохраняющих свою автономию, — шаг в сторону принципа, борьбу за который громогласно возвещал Бакунин, вставая во главе «романо-славянской» секции против «англогерманской гегемонии».

Но отсюда и вытекают все новейшие наши организационные трудности. Конечно, и прежние конгрессы Интернационала не были поголовными сходами его индивидуальных членов; являлись «делегаты» локальных секций и групп; но самые эти первичные коллективы представляли собою пеструю, разнохарактерную и чрезвычайно неравноценную массу. Ныне Интернационал делает попытку базироваться на большие и глубокие почвенные — {189} каждый в своей стране — отделы. Объединенная социалистическая партия Франции, например, хочет даже формально включить в свое наименование слова:

«французская секция социалистического Интернационала». Этим предполагается, что в каждой стране — или, что то же, в каждом государстве — может быть лишь одна секция; иными словами, что подосновой каждой секции является обособленная государственно-территориальная единица. Отсюда и рождаются все трудности. Их корни тройкого рода: неоднонациональность некоторых государств, неодаптийность социализма многих стран и вообще неравносильность разных национально-государственных разветвлений социализма.

Оборотной стороной существования многонациональных государств является висящее в воздухе существование негосударственных и безгосударственных национальностей. По отношению к одной из них, польской, вопрос может считаться решенным: разделы Польши Интернационал для себя считает актами, в международно-правовом смысле ничтожными, и на его конгрессах всегда будет особый стол с надписью «Польша», где как одно целое будут обсуждать все проблемы международного социализма и сообща подавать по ним свой голос делегаты германской, австрийской и русской ветви польского движения. Но жизнь уже выдвигает и еще один жизненный вопрос, в рамках обязательности государственно-территориальной базы социализма не укладываемый: уже существует и находится в процессе заметного роста еврейское рабочее движение и еврейский социализм.

Неужели ему на конгрессах Интернационала нет и не будет места? А где гарантии, что не окажется и других народов, для которых, как и для поляков и евреев, нужна какая-то общая поправка на чисто национальное бытие социализма, не укладываемое в рамки замкнуто-обособленных государственно-территориальных комплексов.

Нам, партии пока еще отсталого, но в будущем цветущего многонационального государства, в решении подобных вопросов надо идти не в хвосте, не позади, а впереди, в авангарде Европы и вообще цивилизованного мира. Не менее тесное касательство к нам имеет и вопрос о странах, где нет социалистического единства в общей концепции социализма и все движение минировано крупным расколом внутри самой социалистической партии. При таких расколах обычно бывает неизбежным вольное или невольное преувеличение каждой из расколовшихся сторон своей собственной силы за счет приуменьшения силы противной стороны.

Интернационалу придется играть роль супрарбитра в этих спорах; но как найти объективные точки опоры для справедливых решений, как избежать субъективного произвола и своего рода «протекционизма» в его вмешательстве? Для нас, эсеров, сравнительных новичков в социалистическом мире вообще и в Интернационале в частности, трудно было удержаться от опасения, что в любом серьезном споре с патентованной марксистской партией, да еще предводимой таким ветераном, {190} как Плеханов, фаворитом Интернационала имеет все шансы стать последняя. И, наконец, заставлял сильно задуматься и третий источник затруднений: естественная неравносильность разных национальных отрядов мирового социализма, не допускавшая грубой «уровнировки» при решении путем голосования жизненных его вопросов такими малыми и отсталыми странами, как, например, Греция, Португалия и Болгария, и столь мощными и авангардными, как Британия, Франция, Германия.

Не то чтоб нам приходилось бояться специального ущемления интересов и прав России: оно исключалось и богатством проявляемой ею революционной инициативы, и безграничностью всех ее потенциальных ресурсов. Однако и здесь со времен I Интернационала положение сильно осложнилось. Во-первых, в марксовские времена социализм всех стран был далек не только от ответственной роли в их государственном и хозяйственном строительстве, но даже и от полной легализации; везде висел над ним дамоклов меч исключительных законов и всякого рода репрессий. В эпоху же 80-х — 90-х годов прошлого века произошла резкая дифференциация между социалистическими партиями стран, пользующихся либеральными учреждениями, и тех, которые остались

пасынками цивилизации: сила первых могла быть легко измерена численностью регулярно платящих членов, числом голосующих за партию, числом ее мандатов в муниципалитетах, ландтагах и парламентах, наполненностью ее касс, богатством инвентаря ее профсоюзов, кооперативов, Народных домов, образовательных, спортивных учреждений и т. п.; сила же вторых могла измеряться лишь величиною «народонаселения» арестных домов, тюрем, крепостных казематов, мест ссылки и каторжных работ. Самые вопросы, в которых были особенно заинтересованы те и другие, становились все более разнородными, да и самый пафос их настроения далеко неодинаков. Являлся источник внутренней дисгармонии, подрывающейся под мировое социалистическое единство.

Взвешивая все эти трудности, Рубанович был верным рупором всех наших собственных забот и тревог. Наше доверие к нему, вначале питаемое главным образом успехом проведенной им итальянской кампании, после этого тем более окрепло, что мы уже не ждали и не требовали от него быстрых и легких удач: серьезно взвешивая сложную и нелегкую обстановку, в которой приходилось ему действовать, мы отдавали себе полный отчет в величине той большой и содержательной органической работы, которая предстояла в Интернационале нам и ему.

Как известно, создание социал-демократической партии было провозглашено в Минске весной 1898 года. Об образовании партии социалистов-революционеров мы объявили почти четырьмя годами позднее, в январе 1902 года. Полномочия на представительство {191} социал-демократов в Интернационале, полученные Г. В. Плехановым, были признаны без задержек.

Дело с нами было сложнее: когда мы постучались в дверь Интернационала, Россия в нем была уже представлена не только Плехановым, но и еще его соперником «рабочедельцем» Б. Кричевским, вынесенным на гребне волны нового прилива социал-демократических элементов, получивших кличку «экономистов». Это уже само по себе затрудняло наше положение: согласятся ли поставить для русских третий стул? Не найдут ли это как бы «премией за раскол»? И. А. Рубанович, однако, узнал, что за протекшие четыре года фонды более умеренного «рабочедельчества» успели упасть, а фонды «революционной социал-демократии», представленной Плехановым, сильно подняться. Она нашла в России очень сильных союзников — то были вскоре приехавшие за границу Ленин, Мартов и Потресов, привезшие с собою русские связи неведомой дотоле эмигрантским лидерам широты.

И так как личные взаимоотношения между Плехановым и Кричевским достигли необычайной остроты, то Рубанович предложил попытаться достичь на этой почве некоторого предварительного сговора с Плехановым. «Не поймите меня превратно, — писал он из Парижа мне в Женеву (к сожалению, могу передать содержание письма лишь по памяти, своими словами), — тут не может быть и речи о каком-то маневре, вроде союза с Плехановым против Кричевского. Я только учитываю и предлагаю использовать одно благоприятное обстоятельство, не зависящее ни от нашей воли, ни от нашего вмешательства. Перспектива того, что место, ныне занятое Кричевским, может оказаться за мною, Плеханова несколько не беспокоит и не раздражает. Кричевский рядом с ним в бюро Интернационала — это подвергает сомнению монопольное право Плеханова быть рупором всей русской социал-демократии. Рубанович же в бюро Интернационала — это лишь согласие Интернационала не прерывать организационной связи с тем русским социализмом домарксистского периода, который так блестяще дебютировал в народовольчестве и который ныне возрождается в эсеровском движении.

Надо ковать железо, пока оно горячо, и поймать Плеханова на его нынешнем, сравнительно терпимом к нам отношении. Если мы серьезно хотим попробовать поработать над делом взаимного сближения социалистов-революционеров и социал-демократов, то необходимое условие для этого — это установление мною возможно наилучших личных отношений с этим человеком, который, правда, безмерно самолюбив и очень драчлив в литературной полемике, но этим далеко не исчерпывается. Он вообще, надо признать, все же политическая фигура крупного формата».

Посоветовавшись кое с кем из ближайших друзей, я ему ответил, что все мы с ним согласны. В России тяга к улучшению наших взаимоотношений {192} с социал-демократами тоже очень заметна: при нашем горячем одобрении кое-где, особенно в Саратове и на Урале, уже возникают даже «объединенные группы социал-демократов и социалистов-революционеров» — и, почем знать, быть может, им удастся стать пока еще недостающим связующим звеном для создания в дальнейшем объединенной социалистической партии в России. «Если так, — снова писал нам Рубанович, — я жду от вас, что моя попытка личного сближения с Плехановым найдет поддержку во всем тоне нашей прессы, в удвоенной тактичности с нашей стороны даже при трактовке „наших разногласий“».

Считаю долгом своим тут же сознаться, что надежды Рубановича на мир с Плехановым и социал-демократами не оправдались. Если он и не ошибся и Плеханов, может быть, был к нам тогда настроен мягко, товарищам своим этой мягкости он не захотел или не сумел передать. Так или иначе, но как раз накануне первого же международного конгресса, созванного после создания объединенной партии социалистов-революционеров — то был знаменитый Амстердамский конгресс в 1904 году, — русская объединенная социал-демократическая партия объявила нам самую настоящую войну.

В специальном номере, посвященном грядущему конгрессу, центральный социал-демократический орган («Искра») обещал выяснить всем заграничным товарищам, что «интересы всемирного социализма представлены в России только социал-демократами», и потому им принадлежит «право на единственное представительство в международной организации пролетариата интересов российского сознательного рабочего движения».

Смысл этого угрожающего обещания стал ясен, когда мы ознакомились с отчетом социал-демократической партии, представленным конгрессу; в нем заявлялось, что мы — ПСР — «фракция буржуазной демократии», «не имеющая твердых политических принципов» и подкапывающаяся под основные принципы «не только русской, но и интернациональной социал-демократии»; откуда и вытекало, что нас нельзя «принимать в семью социалистических партий», так как это «усилит наш престиж» и «несомненно повредит развитию классового сознания и самостоятельной организации русского пролетариата». А в вышедшем накануне открытия конгресса номере германского социал-демократического «Форвертса» («Вперед») оказалась статья Плеханова, не только развивавшая все эти мысли, но и заканчивавшаяся {193} переименованием нас из «социалистов-революционеров» в «социалистов-реакционеров».

(«Форвертс» — немецкая газета, орган социал-демократической партии Германии в 1876-1878 и 1891-1933 гг. Первоначально издавалась в Лейпциге, с 1891 г. в Берлине. В период действия Исключительного закона против социалистов (1878-1891) была запрещена. Прекратила существование вскоре после установления в Германии фашистской диктатуры.)

О том, как произошло это присоединение центрального органа германской партии к походу против нас, всем стало известно из речи Бебеля в рейхстаге, когда он коснулся нашумевшего тогда «Кенигсбергского процесса». (Кенигсбергский процесс — судебный процесс 1904 г. Проходил в Верховном Земельном суде, который размещался в Кенигсбергском замке, по делу немецких социал-демократов, занимавшихся нелегальной транспортировкой в Россию газеты

«Искра». Защитником на суде выступал К. Либкнехт, известный деятель германского и международного рабочего движения.)

Начатый в угоду царскому правительству, этот процесс должен был установить, что русская социал-демократия занимается подстрекательством рабочих к насильственным политическим действиям и привести к запрету для нее являться со своей литературой к германо-русской границе. Выступая с оправданием русских социал-демократов от обвинений этого рода, Бебель рассказал, что, когда он недавно гостил в Цюрихе, ему нанес специальный визит Плеханов. Нарисовав ему тяжелое положение русской социал-демократии под ударами правительственных репрессий, Плеханов прибавил, что в это самое время она подвергается отчаянному натиску со стороны русских террористов, «этих политических революционеров мелкобуржуазного пошиба, ничего общего с рабочим классом не имеющих». И Плеханов очень сетовал на то, что в немецкой социал-демократической прессе — очевидно, по неведению и неосторожности — проскальзывают иногда сочувственные нотки по отношению к этим элементам, которые русской социал-демократией рассматриваются как самые опасные ее враги на революционном поприще. Приведя этот демарш Плеханова в доказательство полной искренности отречения русских социал-демократов от наветов Кенигсбергского процесса, Бебель кстати сообщил, что, выслушав Плеханова, он кратко и просто обещал ему «принять меры», так что «отныне этого более не будет».

Несмотря на все это, Рубанович сохранял свой оптимизм. Этому помогло одно чрезвычайное обстоятельство. Почти ровно за месяц до открытия конгресса (14 августа 1904 г.) произошел в Петербурге взрыв бомбы Созонова, покончивший с карьерой бывшего «победителя „Народной воли“» фон Плеве, только что прославившего себя покровительством кишиневским погромщикам, усмирителям крестьян Украины и Поволжья, рабочих-стачечников и волнующихся студентов.

В сознании людей старшего поколения живет доселе память о том, каким вздохом облегчения, каким взрывом всеобщего энтузиазма откликнулась на этот акт страна. Эхо этого взрыва прокатилось далеко за пределы России. Пишущий эти строки мог лично наблюдать, {194} какое совершенно исключительное внимание привлекла к себе на конгрессе эсеровская делегация, возглавляемая рядом имен, из которых чуть не каждое представляло живую историю русской революции и русского социализма: Брешковская, Волховской, Лазарев, Шишко, Рубанович, Минор, Гоц — и за которыми шли мы, представители нового поколения — Житловский, Чернов и другие.

В распоряжении делегации было около 30 мандатов, непосредственно присланных от действующих русских организаций.

И при проверке мандатов возник только один инцидент. Представители Латышской социал-демократической партии при поддержке русских социал-демократов попробовали оспорить поддержанный нами мандат представителя конкурировавшего с Латышской социал-демократической партией Латышского социал-демократического союза (собиравшегося уже, впрочем, переименоваться в Латышскую партию социалистов-революционеров). Председатель мандатной комиссии — им был Эмиль Вандервельде, — устав от мелочности спора, наконец спросил у представителя «партии», знает ли он персонально представителя «союза»? «Еще бы, — ответил первый, — мы вместе с ним сидели в царской тюрьме...» — «Нам, — ответил Вандервельде, — трудно понять, как это в царской тюрьме вы могли сидеть вместе, а в Интернационале — нет». Все невольно рассмеялись, и вопрос был решен — подавляющим большинством голосов.

Наконец на очередь встал вопрос о том, кому должны принадлежать два места в Бюро Интернационала, приходящиеся на долю России. Ввиду победы в рядах русской социал-

демократии течения «Искры» над течением «Рабочего дела» Бюро сохранило за Плехановым его место и зарегистрировало отставку Кричевского.

(«Рабочее дело» — социал-демократический журнал, выходивший в 1899-1902 г.г. в Женеве. Являлся печатным органом Союза русских социал-демократов за границей, который был основан в 1894 г. по инициативе группы «Освобождение труда». I съезд РСДРП (март 1898) признал Союз заграничным представителем партии. Однако большинство членов Союза вскоре оказались «экономистами», считая борьбу за экономические интересы пролетариата основой всей социал-демократической деятельности, и на своем I съезде в Цюрихе (ноябрь 1898) Союз отказался выразить солидарность с «Манифестом» I съезда РСДРП. Решением II съезда РСДРП Союз был распущен.)

Но против кандидатуры на это место партии социалистов-революционеров была выдвинута контркандидатура еврейского Бунда. Рубанович с большим тактом заявил, что в его сознании нет места для самой мысли о борьбе за место в Интернационале между русской партией социалистов-революционеров и еврейскими рабочими. Социализм настолько охватил еврейский пролетариат, что его голос вправе звучать в Интернационале наравне со всеми другими. Но евреи ныне — внетерриториальная народность, и было бы искусственно включать их в какое-либо одно иное национально-государственное целое. {195} Еврей-социалисты вправе желать себе признания в качестве мирового по территориальному распределению, но особого по национальной культуре целого. Когда вопрос будет поставлен так, наша фракция будет голосовать за его представительство в Бюро. Теперь же, когда требуют для Бунда положения, при котором он, объявленный русским, будет уравнивать собою весь остальной русский социализм, мы против этого возражаем и своей кандидатуры на второе место в Бюро от России не снимаем.

Мы ждали, что тут-то и начнется ничем более не замаскированный «принципиальный» поход против нашего права «быть допущенным в семью социалистических народов». Но этого не случилось. Наши противники предпочли спрятаться за экстравагантный пробундизм, искусственно вдвинутый в чисто русские рамки. Нам оставалось принять бой на почве, избранной противниками. Предложение о предоставлении второго русского места в Бюро Интернационала партии социалистов-революционеров было поставлено на голосование... И оно прошло 15-ю голосами против 7, то есть большинством свыше двух третей голосов.

Так на долю И. А. Рубановича выпала его вторая решительная и блестящая победа. С тех пор И. А. Рубанович стал бессменным представителем партии социалистов-революционеров в Интернационале. Сместила его только смерть.

Бесчисленны, разнообразны и порою более чем нелегки были выпадавшие на его долю обязанности. Сюда относилась прежде всего по-прежнему защита эмиграции от попыток царского правительства протянуть свои длинные руки далеко за черту русской границы, как это вскоре снова случилось в деле Бурцева, высланного из Швейцарии и угрожаемого высылкой из Франции. Но самым громким было дело социалиста-революционера Я. Черняка, арестованного шведской полицией в Стокгольме. Целых два месяца содержался он под стражею в полном секрете; тем временем два русских «гороховых пальто» побывали в его парижской квартире и от его имени вручили хозяйке стокгольмский адрес, по которому должна быть ему пересылаема вся его корреспонденция: она получалась его русскими обвинителями и предъявлялась шведским властям. И. А. Рубанович немедленно поднял в защиту его интересов и Лигу прав человека, возглавляемую Прессансе, и Общество друзей русского народа, возглавляемое Анатодем Франсом, — от обоих полетели телеграммы в шведскую палату депутатов с просьбой взять дело в свои руки; поднялось Международное социалистическое бюро, и, по его просьбе, знаменитый лидер шведского социализма Брантинг. Жан Жорес поднял громкий протест по поводу махинаций русской тайной полиции на французской территории с целью систематического нарушения неприкосновенности почтовой тайны. Присоединился к этой кампании и ряд членов английской палаты общин и других крупных деятелей {196} английской общественности, науки и литературы.

Удалось выяснить, что царское правительство добивается выдачи Черняка, вменяя ему участие в экспроприации казенных денег в Фонарном переулке, тогда как легко было установлено, что он выехал из России за полтора месяца до этого громкого дела и в день нападения находился далеко за границей.

Под давлением общественного мнения всей Европы шведское правительство заявило русскому, что могло бы выдать Черняка лишь на трех условиях: 1) он будет судим не каким-либо чрезвычайным, но обычным уголовным судом, 2) он будет судим лишь по обвинению, выставленному мотивом требования о выдаче, и 3) в случае оправдания он будет немедленно освобожден и выпущен за границу; в случае же обвинения ему будет предоставлено то же право по отбытию срока судебного приговора.

Оскорбленное диктовкой ему «условий», царское правительство категорически их отвергло. Но тогда и шведское правительство отвергло выдачу и освободило Черняка под условием выезда из Швеции. Черняк поспешил воспользоваться решением и, скрывшись под псевдонимом Лемана, выехал на отправлявшемся из Готтенберга в Амстердам пароходе «Олаф Вик». Рубанович снова победил. Но дело Черняка этим не кончилось. Когда пароход был уже в открытом море, на его борту ранним утром оказались три трупа; химико-медицинское исследование установило отравление какими-то мышьяковыми газами через дыхательные пути. Одним из трех был «Леман», то есть эсер Черняк...

Так неожиданно оборванное для заграницы дело это едва не воскресло в России, где был проект поднять его с трибуны Государственной думы, после того как в редакции некоторых прогрессивных газет была принесена одним из министерских служащих для продажи часть переписки между министерством юстиции и другими инстанциями. Если верить этим документам, дело Черняка было доведено до конца неотступно следившим за ним по пятам за границу агентом охраны Андреем Викторовым, получившим за верную службу денежную награду в 1500 рублей и личное почетное гражданство. Среди уверовавших в подлинность документов был Г. Гершуни, блестяще проведенный на страницах «Знамени труда» всю полемику по этому поводу с правительственной прессой.

(«Знамя труда» — газета, центральный печатный орган партии социалистов-революционеров. Издавалась с июля 1907 по апрель 1914 гг., всего вышло 53 номера. На страницах газеты обсуждались программные, тактические и организационные вопросы жизни партии, освещалась ее текущая жизнь, резкой критике подвергалась внутренняя и внешняя политика царизма, освещались также вопросы международного социалистического движения. На V Совете партии (май 1909) в состав редакции были избраны Н. Д. Авксентьев, Н. И. Ракитников и В. М. Чернов.)

Другие — между ними был и я — {197} опасались, нет ли тут подлога с провокационной целью: вовлечь нас в большую парламентскую битву с компрометирующим нас исходом. Кто из нас был прав, я не знаю и доселе. Теперь, когда все архивы давно раскрыты, узнать истину было бы нетрудно; но, если не ошибаюсь, нынешние хозяева архивов не видели в этом для себя никакого интереса.

Но кроме тревог и забот «внешнего фронта» нашей партии, Рубановичу нельзя было забывать и о прочности нашего тыла в самом Интернационале. Об этом ему прежде всего напомнило выступление в бюро такого добросовестного и далеко не сектантски непримиримого человека, как Аксельрод. Он решительно выступил против широкого открытия дверей Интернационала для мелких национальностей: в случае торжества этой тенденции, заявил Аксельрод, «русская социал-демократия должна принять меры, чтобы такое постановление не получило применения в России». Вот почему, во-первых, не удалось найти себе места в Интернационале сионистам-социалистам* — правда, отчасти по их собственной вине: они заявили, что, придерживаясь строгого марксизма, они претендуют на место в социал-демократической подсекции русского социализма, тогда как эта подсекция

принять их в свою среду столь же решительно отказалась; и сионистам-социалистам осталось лишь примириться со своею неудачею.

*(Сионисты-социалисты — члены сионистско-социалистической рабочей партии (ССРП). Партия была создана в 1904 г. силами еврейских ремесленников и интеллигентов, отколовшихся от партии «Поалей-Цион». Главной задачей еврейского пролетариата ССРП считала борьбу за создание еврейского государства в Палестине или временно на какой-либо другой территории. Выступала с резкой критикой как РСДРП, так и Бунда. В марте 1917 г. члены ССРП вместе с членами СЕРП образовали Объединенную еврейскую социалистическую партию (ОЕСРП), выступившую за создание «национально-персональной автономии» евреев и поддержавшую курс Бунда на осуществление «культурно-национальной автономии». После Октябрьского переворота 1917 г. большинство партии выступило против большевиков и поддержало действия «Комитета спасения».)

(*ldn-knigi*, см. Ицхак Маор «Сионистское движение в России» и др. книги по теме на <http://ldn-knigi.lib.ru/Judaica.htm>)

Тактика «отвода» была испробована русскими социал-демократами и против молодой социалистической еврейской рабочей партии (или, по инициалам своего названия, «Серп»); но, поддержанная секцией социалистов-революционеров, в которой она искала себе места, партия эта, вопреки социал-демократическим возражениям, подавляющим большинством голосов была принята. И в Интернационале наконец сложилось убеждение, что социалистическому еврейству в его среде должно быть дано место отдельно и независимо от других государственно-территориальных единств; и потому, как только в Палестине развилось еврейское социалистическое и синдикальное движение (партия «Мапай»* и всепрофессиональный союз {198} «Гистадрут»**), то, вопреки всяким возражениям, осуществилось то, что предвидел И. А. Рубанович: наподобие секции «Польша», несмотря на отсутствие независимой польской государственности, была установлена и секция «Палестина», несмотря на отсутствие независимого государства еврейского. На этой арене поддержанное социалистами-революционерами право мелкодержавных и даже недержавных национальностей одержало верх над его отрицателями.

(*МАПАЙ — левая еврейская сионистская рабочая партия, образованная в 1930 г. в Палестине. Под руководством Бен-Гуриона в 1930-е гг. партия превратилась в ведущую политическую силу ишува и играла ключевую роль во всех институтах и учреждениях ишува и в международном сионистском движении. После создания государства Израиль в течение пяти первых созывов кнессета партия сохраняла положение ведущей фракции. Членами партии были видные политические и государственные деятели Израиля: Леви Эшколь, Шимон Перес, Голда Меир, Моше Даян, Аба Эвен. В 1963 г. Бен-Гурион вышел из МАПАЙ и образовал список- РАФИ, а в 1968 г. МАПАЙ и РАФИ объединились в партию АВОДА. (на иврите, «Партия Труда» *ldn-knigi*)

**«Гистадрут» — Всеобщая федерация еврейских трудящихся, учрежденная на общем съезде палестинских рабочих в 1920 г. в Хайфе.)

На том же заседании бюро Интернационала выступление Аксельрода вызвало еще и другой инцидент. Аксельрод вообще возражал против слишком широкого открытия дверей Интернационала, при которых рождается опасность, «что истинная пролетарская партия, русская социал-демократия, потеряется среди социалистов всякого сорта». Рубанович писал нам, что не мог остаться равнодушным к подобным попыткам разделить членов Интернационала на «истинных» и «всякосортных» и ребром поставил вопрос: не приходится ли принять его за выпад против нашей партии? Аксельрод ответил мне — скорее уклончиво, — что «не имел в виду никакого конкретного случая», зато Вандервельде, в качестве председателя, пресек инцидент категорическим заявлением относительно нас: «Факт участия в международном социалистическом бюро устраняет всякие сомнения в социалистическом характере этой партии...». «Тем не менее, — говорил в заключение своего письма Рубанович, — если мое чутье меня не обманывает, нам нужно ждать против нас какого-то похода. Аксельрод лично для меня одна из самых симпатичных фигур среди социал-демократических лидеров, совершенно лишенный злобности против инакомыслящих, и если даже у него прорываются ноты недоброжелательства к нам, то это значит, что на него

оказывается в „том лагере“ сильнейшее давление, против которого он по природной мягкости устоять не может. И я хотел бы знать, как себя вести по отношению к будущему враждебному против нас походу».

Я не помню в точности, что мы ему на это отвечали. Вероятно, указали, что намечающаяся озлобленная контрреволюция нас с социал-демократами скорее сближает, чем разделяет. В тот ли самый, или другой раз мы сослались на то, что социал-демократы, которые еще недавно ни за что не называли публично никого из нас «товарищем», а демонстративно «господином» или в лучшем случае «гражданином», {199} — в последнее время открыли новый термин «товарищ по революции» (то есть подразумевая, что по социализму они нас товарищами считать все же отказываются). Откуда у нас вытекало, что нервничать по этому поводу не стоит; подождем еще немного, и прибавка «по революции» будет сначала произноситься скороговоркою, потом совсем отпадет, а «товарищ» все переживет и один выживет. Рубановичу был возобновлен вотум полного доверия нашего и давалась общая *carte blanche* (переносн., свобода действий (фр.)) на составление нашей секции на близившемся Штутгартском конгрессе, куда — предупреждали мы его — из России делегатов мы посылать не будем: каждая личная сила нужна теперь на месте.

Сверх нашего ожидания оказалось, что Рубановича чутье его не обмануло. В Штутгарте он оказался не только в затруднительном, но и в тяжелом положении. Перед ним встал вопрос, как внутри общей русской секции будет произведено распределение 20 голосов, полученных русским социализмом — наравне с другими наиболее крупными разветвлениями международного движения (английским, немецким, французским). Социал-демократическая подсекция выступила с готовым проектом, которому, как обнаружилось, заранее была обеспечена поддержка очень влиятельных элементов. Проект этот сводился к тому, что, во-первых, за счет секции социалистов-революционеров будет выделено три голоса специально для делегатов профсоюзного движения, которые оказались налицо, — разумеется из числа союзов, контролируемых социал-демократами; а кроме этого, социал-демократы хотели — в знак признания их первенствующего значения в русском рабочем движении перед нами — присуждения их секции скромной цифры — всего лишь одного лишнего голоса. А итог получался более, чем красноречивый: секция социалистов-революционеров, располагающая всего 6 голосами, социал-демократическая секция — одиннадцатью плюс три голоса профсоюзных — итого 14 голосами против 6, более, чем двойное количество против нашего...

Рубанович не растерялся. Он категорически заявил, что самый прием выторговывания у Интернационала одной секцией за счет другой лишних голосов, на его взгляд, в корне неправилен. И наша партия, и социал-демократическая — партии нелегальные. Никакого подсчета их членов, живущих «в подполье», быть не может. Отсутствуют и другие объективные мерила: нет числа мандатов, доставшихся обеим партиям, ни в органах городского самоуправления, ни в земствах или ландтагах, ни в парламенте, нет и счета поданных за эти мандаты голосов. «На глаз» подсчитывать силы, конечно, возможно, но каждой из соперничающих партий с равным правом, если не с равным бесправием, позволительно считать себя сильнее. Интернационал {200} выбрать одну из сторон мог бы лишь по субъективному общему настроению, то есть произвольно. Да и общее состояние сил каждой из нелегальных партий — величина в высшей степени неустойчивая и колеблющаяся, ибо часто зависит просто от силы направленных то на ту, то на другую полицейских ударов. При таких условиях Рубанович считает и единственно справедливым, и единственно плодотворным в смысле уменьшения межпартийных трений и раздоров принципиальное установление паритета между спорящими нелегальными социалистическими партиями одной и той же страны.

Интернационал как таковой по отношению к ним имеет лишь одну миссию: не протезировать одну сторону за счет другой, а побуждать их к взаимопризнанию, к взаимной терпимости, сближению и конечному слиянию. Что же касается выделения нескольких голосов русской секции в пользу профсоюзов, то Рубанович на него согласен, при условии соблюдения того же паритета: каждая подсекция дает им по одному или по два голоса, так что в целом, вместо предлагаемых трех голосов, они будут обладать или двумя, или четырьмя голосами.

Этот спор был решен авторитетным выступлением двух едва ли не крупнейших фигур Интернационала: Бебеля и Адлера, дружно выступивших в пользу русского социал-демократического проекта. Начали они с заявления, что «отнюдь не желают умалять значение ПСР, которую признают важным фактором русского социализма и революции». Они лишь «хотят быть справедливыми и констатировать приблизительное соотношение сил». Если они не ошибаются, то социалисты-революционеры популярнее социал-демократов в деревне; что же касается пролетарских профсоюзов, то они социалистами-революционерами не контролируются, и вот почему выделение нескольких голосов для них должно произойти не за их же счет, а за счет подсекции социалистов-революционеров. Этого, на их взгляд, достаточно, и в особом перенесении еще одного голоса от подсекции социалистов-революционеров на социал-демократическую надобности нет.

Итак, за социал-демократической подсекцией они предлагают оставить те же 10 голосов, которыми она располагала бы при паритете, вместо 6 дать подсекции социалистов-революционеров 7 голосов, и три выделить профсоюзам; так как социалистическая революционная литература много говорит о своем преимущественном влиянии социалистов-революционеров во всероссийском железнодорожном союзе, крестьянском союзе, союзе моряков, то это решение вовсе не будет означать, что ПСР будет иметь голоса профсоюзов против себя. Так что они и просят не усматривать во всем этом обиды, нанесенной секции социалистов-революционеров. С этой поправкой данный проект распределения голосов в русской секции прошел в бюро, и то лишь 10 голосами против семи, оставшихся верными принципу паритета, отстаиваемому Рубановичем.

{201} «Я мог, конечно, протестовать, мог апеллировать против бюро к конгрессу — хотя бы следующему, — писал он нам. — Я избрал другое: подчиниться большинству, и этим показать пример „демократической дисциплины“. Единственное, что я себе позволил, это заявить: надеюсь очень быстро доказать бесспорными данными, что ПСР уже теперь — фактор революции, не уступающий, а даже значительно превышающий своим удельным весом другие. Но так как для нас здесь был вопрос принципа, а не овладения за счет иномыслящих социалистов одним, двумя или тремя лишними голосами, то я обещаю заранее: мы не собираемся учесть в интересах нашей партийной фирмы измененного соотношения сил иным распределением голосов, но и тогда останемся принципиальными сторонниками паритета, останемся до тех пор, пока самый вопрос о разделе голосов между подсекциями не будет упразднен созданием в России единой социалистической партии». «Не знаю, — заключал Рубанович, — быть может, вы найдете, что я слишком далеко простер свою уступчивость. Тогда я скажу: хорошо, виновен, но заслуживаю снисхождения; хотя бы потому, что даже из голосовавших против нас многие потом мне заявляли, что эти мои заключительные слова произвели самое лучшее впечатление».

Рубанович напрасно сомневался, уж не найдем ли мы его поведение слишком уступчивым. Мы нашли лишь, что он, как и следовало, только был далек от фракционной мелочности и упорства. И впоследствии мы убедились, что он смог и пожать то доброе семя, которое посеял. То было на чрезвычайном международном Базельском конгрессе, когда впервые произошла небывалая в анналах истории наших межфракционных отношений вещь. В «комиссию пяти» для выработки общего Манифеста Интернационала против надвигаю-

шейся мировой войны, в добавление к Жоресу от Франции, Бебелю от Германии, Виктору Адлеру от Австрии и Кейр Гарди от Англии, — по соглашению обеих русских подсекций от России был единодушно избран социалист-революционер Илья Адольфович Рубанович.

Когда затем, подготавливая созыв нового, Венского конгресса, Интернационал вплотную взялся за посредничество в деле хотя бы частичного социалистического объединения — в недрах самой социал-демократической подсекции русского социализма, — Рубанович с прежним благородством и тактом безоговорочно поддержал этот шаг, предпринятый по инициативе Карла Каутского. Он не забыл, однако, сослаться и на то, что прежняя Амстердамская резолюция говорила о необходимости объединения всех социалистических сил в каждой секции, что председатель Вандервельде сделал в этом смысле прямое воззвание ко всем русским партиям и что, наконец, общепризнанный вождь русской социал-демократии Плеханов заявил на заседании Бюро в октябре 1912 года, что настал час не только для {202} восстановления единства РСДРП, но и для сближения последней с ПСР. В ответ на все это Рубанович, «в полном согласии с центральными учреждениями ПСР», заявил о нашей «готовности сделать все возможное для устранения причин расхождения обеих партий». Единство это, продолжал он, не может быть декретировано одним вотумом Бюро Интернационала; но его авторитет достаточно велик, чтобы все русские партии завтра же после его призыва начали новую эру — взаимоотношения даже и в самых спорных между ними вопросах с большим взаимным уважением и вниманием. И специально от имени ПСР он дал торжественное обещание, что в новых, свободных условиях русской жизни она вдохновится волею организованных масс, на которые смотрит как на единственного судью для установления единства, и будет готова на их суд лояльно понести как на суд последней инстанции все еще остающиеся между ними разногласия.

Увы! И. А. Рубанович не дожил до того момента, когда партия социалистов-революционеров показала наглядно и неоспоримо всю меру своего удельного веса среди остальных партий России: когда при абсолютно свободных и равноправных условиях выборов во всенародное Учредительное собрание — сам Ленин писал, что в это время Россия была «самою свободною странюю в мире», — она собрала больше голосов и получила больше мандатов, чем все остальные партии, вместе взятые. Не дожил он и до чаемого им нормального всеобщего объединения русского социализма. На его и нашем пути возникли новые осложнения, встретились новые подводные камни и скалы и разразились новые землетрясения, бури и кораблекрушения.

Подводя итоги «эпохе Рубановича» во взаимоотношениях партии социалистов-революционеров с Интернационалом, нельзя не остановиться хотя бы самым беглым образом на своеобразной, предпринятой им органической работе по осведомлению умственного и морального цвета Европы о том, что переживает нарождающаяся новая Россия, Россия революции и социализма. Всей русской историей навеянный смысл русского революционного движения; пафос его жертвенности; выработка им все более и более конкретной программы преобразований страны; найденные им поперек своего пути бесчисленные явные трудности и скрытые подводные скалы; вся слагающаяся в огне борьбы его тактика и стратегия — все это должно было предстать перед духовным авангардом Европы не в виде абстрактной схемы, а во плоти и крови, — так, чтобы европейский социалист умел мысленно сам себя поставить на место русских борцов за свободу и социальную справедливость и видеть в них работников — с другого, восточного конца — того же дела, которое подвигается ими с дальнего Запада.

{203} Решая вопрос о том, где же искать точки приложения для этой работы, ведомой по линии наименьшего сопротивления и наибольшей эффективности, Рубанович остановился на Франции. И не только потому, что сам он был полуфранцузом. Он отдавал себе полный

отчет в том, что Британия еще долго останется при своем островном «культурно-политическом изоляционизме» от европейского континента, Германия же, доминирующая над Европой уже одной своей территориальной «сердцевинностью», окажется для эсеровских веяний весьма и весьма «огнеупорною». Приехав в Финляндию, на первый Иматрский съезд партии, он так определил конъюнктуру, сложившуюся для нас в Интернационале с первого нашего в него вступления:

«ПСР зародилась в такой момент, когда политически-революционная арена была занята почти исключительно другой фракцией русского социализма, крайне враждебной ее тенденциям, унаследованным от „Народной воли“; — фракцией, которая, заимствовав почти целиком свою программу у могучей немецкой социал-демократии, пользовалась авторитетом и влиянием последней, чтобы заградить дорогу к развитию и распространению других течений». (*ldn-knigi, выделено нами*)

Считаясь с этим обстоятельством, Рубанович решил отправным пунктом своего литературного воздействия на европейское общественное мнение избрать Париж и начать на французском языке издание особого органа «Русская трибуна» (La Tribune Russe). Единственной предшественницей ее была мертворожденная попытка спасения герценовского «Колокола» переводом его на французский язык. Увы, несмотря на весь несравненный талант его основателя, дело не пошло, и в письме Герцена Огареву уже от 9 января 1868 года мы находим его заявление: «Дело ясное, что никто не хочет ни русского, ни французского „Колокола“; в таких условиях я не могу работать».

Это фиаско герценовской попытки Рубановича не остановило. И, начав издание с января 1904 года, он вел его без перерыва в течение целых 6 лет, до конца 1909 года. На рубеже 1910 года, когда врачи ввиду сахарной болезни и нервного переутомления Рубановича предписали ему длительный абсолютный покой и систематическое лечение, он с немалой горечью в сердце должен был объявить о временном перерыве в выходе «Русской трибуны». Но, едва оправившись от недуга и восстановив свои силы, он уже заявляет о возобновлении издания. И тут, как он тотчас же убедился, оказалось: про «Русскую трибуну» нельзя было сказать, что ее «никто не хочет». Напротив, вся французская социалистическая пресса — и гедисты, и, и бланкистская — приветствовала ее возрождение с завидным единодушием и энтузиазмом. Даже такой скуповато строгий и узкий орган, как «Le Socialisme» Жюль Гедэ, выразил «Русской трибуне» пожелание «добраго успеха и долгой жизни», особенно отметив ее заслуги в деле систематического искания среди русских социалистов различных, порою враждующих между собою фракций {204} «максимумасоглашения и минимума разделения».

В «Le Humanite» («Le Humanite» («Юманите») — французская ежедневная газета. Основана в 1904 г. Ж. Жоресом как орган французской социалистической партии. После образования французской коммунистической партии (1920) стала ее центральным печатным органом.) приветственную статью написал сам Жан Жорес, отмечая в «Трибуне» отрадный общий дух «широкой терпимости и беспристрастия» как во всех вопросах внутренней жизни России, так особенно и в сфере сталкивающихся межнациональных интересов — свойства, особенно ценные в тот момент, когда на международном политическом горизонте стали сгущаться тяжелые грозные тучи, чреватые ураганом, способным сотрясти весь европейский мир. А в центральном органе французской социалистической партии «Le Socialiste» маститый глава бланкистов Эдуард Вайян напоминал, что именно русский народ первым испытал мощное оружие всеобщей революционной забастовки для нанесения сокрушительных ударов империалистической политике царей и усматривал в возрождении «Русской трибуны» счастливое «предзнаменование», что революционная Россия этой своей инициативной

миссии не изменит и в деле мобилизации международных сил против надвигающейся военной катастрофы «сможет сыграть решающую и спасительную для Европы роль»...

Этим своим успехом «Русская трибуна» обязана была более всего личным качествам обоих ее соредакторов, Рубановича и его ближайшего политического друга Н. С. Русанова, каждый из которых в течение длинного ряда лет являлся столько же, если не еще более, французским, чем русским писателем. «Русская трибуна» блистала безупречным французским языком и стилем, каким могли бы позавидовать и коренные французские журналисты, соединяя с ними ту углубленную трактовку и общих «миросозерцательных» тем, и проблем политической тактики и стратегии, в которой русская политическая литература обычно выдавалась среди других европейских литератур. Когда смертью Рубановича была оборвана «Русская трибуна», оставленное ею вакантное место пустовало и пустует доселе.

Авторитет, упрочившийся за французскою газетою Рубановича, давал ему возможность влиять на общественное мнение страны так, как до него не удавалось еще никому. И это в полной мере проявилось в той последней политической кампании, которую Рубановичу пришлось провести — но уже не против царского самодержавия, которое было сметено в грозе и буре революционных событий, а против вывернутого наизнанку единодержавия диктаторской партии.

Читатель понимает, что я имею в виду знаменитый процесс Центрального Комитета эсеровской партии, после которого двенадцать лучших членов его, не избегнувших чекистских сетей, были превращены каким-то подобием суда — в двенадцать условных смертников, {205} то есть официальных заложников за партию, остатком жизни своей гарантирующих большевистскую диктатуру от действий, какими обычно партия притягивала к ответственности насильников над русским народом.

(Idn-knigi, См. у нас - «Двенадцать смертников» - суд над Социалистами-Революционерами в Москве в 1922 г. , издание Заграничной Делегации П. С. Р.; Берлин, 1922 г.; также др. книги по теме!)

Как только был намечен этот зловещий процесс, все мы, деятели партии, оказавшиеся за границей, решили приложить все наши усилия к тому, чтобы мобилизовать против него весь духовный авангард и моральный цвет цивилизованного мира. Заграничная делегация партии не пожалела своего основного денежного фонда, чтобы приобрести дышавший на ладан русский ежедневный печатный орган, издававшийся в Берлине и носивший имя «Голос России». («Голос России» — ежедневная газета, издававшаяся эсерами в Берлине с февраля по октябрь 1922 г., подробно освещала московский судебный процесс над социалистами-революционерами.)

В телеграммах, в корреспонденциях, в стенографических отчетах о процессе, во всесветных откликах на него мы безостановочно и всесторонне освещали постановку и ход этого беспрецедентного издевательства над самыми основами права.

Номера «Голоса России» стали первоисточником для осведомления всей мировой прессы, поскольку она могла располагать знающими русский язык переводчиками и комментаторами. Для Франции ту же роль играла не только «Русская трибуна», но и ее еще более частые информационные бюллетени. И понемногу все образованные слои Европы втянулись в ход процесса, ждали новостей о нем, трепетали нервами от ожидания и все громче реагировали на вести из Москвы, не укладывавшиеся в нормы правосознания современного человечества. Все отзывы, все отклики сливались в гул всесветного морального протеста против неслыханной пародии на правосудие. Мировая совесть отказывалась с ним мириться...

Читатель уже ждет, что ведущая роль при этом должна достаться Франции, где дело это естественно переходило в руки И. А. Рубановича. И он не ошибется. С красноречивым протестом выступил не только Анатолий Франс, но и державшийся высоко над международными и междупартийными конфликтами Ромен Роллан, и даже сильно симпатизировавший принципам «советизма» Барбюс; отозвались ученые, как Сеньобос, Олар, Пенлеве, Габриэль Сеай, Шарль Жид, Леви Брюль, — чтобы упоминать только самые известные имена; число всевозможных организаций — образовательных, профессиональных, политических, поднявших свой голос в защиту подсудимых, росло с каждым днем. Из профорганизаций Франции с нами оказалась не только центральная Конфедерация труда, но и большевизанствующая Объединенная конфедерация.

К французским светилам философии, науки и литературы присоединились немецкие и английские: возвысил свой голос всегда чуткий Эйнштейн; отозвался {206} философ Алоиз Риль, примкнули Герберт Уэллс, Зудерман, Келлерман и многие другие литераторы; не осталось, кажется, ни одного «молчальника» среди крупных европейских социалистов — протестовали Карл Каутский, Э. Бернштейн, Турати, Ленсберри, Гильфердинг, Брейтшейд, Адлер, (имеется в виду Ф. Адлер) Штампфер и другие; из русских деятелей не выдержал даже слишком часто сбивавшийся в сторону большевиков Максим Горький...

Список протестующих коллективных и единоличных голосов затоплял страницы наших газет и бюллетеней. По всему миру пронеслась буря нравственного негодования, от которого диктаторской кучке, занявшей Кремль, стало неспокойно. Она привыкла дотоле своею умелой демагогией и пропагандой пожинать симпатии, привыкла обзаводиться во всех странах «попутчиками» из людей идейных, но лишенных должной устойчивости и политического равновесия. А тут стало получаться впечатление, что вся тонко организованная многолетняя работа просоветской пропаганды может быть стерта, как стирается мокрой губкой запись мелом на грифельной доске.

Этим моментом решило воспользоваться так называемое Венское объединение социалистических партий, мечтавшее о воссоздании в Европе всеобщего социалистического единства, но не желавшее соединиться в отдельности ни с группой партий, оставшейся от II, довоенного Интернационала, ни с новым Коминтерном, — тем более что в каждом из них оно потонуло бы в роли безнадёжного меньшинства. Ему мечталась роль соединительного звена между обоими; в крайнем же случае, возможность уравнивания то левых правыми, то обратно, и потому решающая роль в триедином целом. И вот, по инициативе Вены, наметился съезд в Берлине трех Интернационалов: союзно-демократического, московско-коммунистического и промежуточно-венского.

Как сейчас, вспоминаю дни наставшей для нас лихорадочной работы к «съезду трех Интернационалов». С момента, когда я в качестве члена и представителя Центрального Комитета нашей партии прибыл за границу, у нас была организована и утверждена Заграничная делегация ЦК в составе Рубановича, Русанова, Чернова, Зензинова и Сухомлина, пленум которой заседал на рубеже 1921 и 1922 года. Эта делегация должна была представить Берлинскому съезду наш меморандум. Рубанович был в нее включен и как специальный уполномоченный ЦК, и как официальный заграничный представитель самой грандиозной из массовых организаций России — Всероссийского Совета крестьянских депутатов. Отсюда взялась присвоенная ему за рубежом в эмигрантской среде кличка: «посланник русской революции за границей». Съехавшись снова в Берлине, делегация поручила мне в «ударном порядке» написать наш меморандум, а ряду {207} других товарищей, по мере его написания, переводить на три языка — французский (Рубановича—Русанова), немецкий (Марка О. Левина) и английский (не помню чей).

Три дня и три ночи — с микроскопическими перерывами для сна — продолжалась эта работа; значительная часть ее состояла в обвинительном акте против коммунистической диктатуры, уничтожения ею всех личных и общественных свобод, порабощения независимых профсоюзов и кооперативов, роспуска демократических муниципалитетов, земств и земельных комитетов, обречения на подпольное существование всех партий, кроме господствующей, роспуска и замены военно-революционными комитетами Советов, имевших против-коммунистическое большинство, и венца всего переворота — разгона Учредительного собрания — того самого Учредительного собрания, откладывание срока созыва которого большевики инкриминировали Временному правительству и для спасения которого звали к свержению Временного правительства, а когда убедились, что, несмотря на все их усилия, большинство Учредительного собрания оказалось решительно социалистическим и противокommунистическим, то сами же его и ликвидировали военной силой.

Совещание трех Интернационалов не обошлось, разумеется, без отдельных бурных сцен. Они, конечно, были бы и более бурными, и более частыми, если бы наши представители были в числе участников съезда. Но наша партия была застигнута событиями как раз в тот момент, когда уже не была в составе II Интернационала (русский ЦК, по предложению Тимофеева, решил его покинуть) и еще не была в составе Венского объединения (куда предполагала вступить, но отложила решение вопроса до Гамбургского конгресса обоих этих объединений, на котором состоялось их слияние в Рабочий социалистический интернационал). Для организаторов Берлинского совещания это временное существование нашей партии вне трех съехавшихся интернациональных организаций, как мы впоследствии узнали, было большим удобством, ибо делегация Коминтерна устами Радека и Бухарина поставила еще до открытия Совещания вопрос о гарантиях личной безопасности ее членов и заявила, что в России мы будто бы начали употреблять против них язык револьверных пуль. Так всегда в глазах коммунистов история переворачивалась вверх ногами: кто же, если не они, своим демонстративным уходом из Учредительного собрания и принятием «декрета» о его роспуске заменили парламентский язык правомочных народных избранников языком гражданской войны и террора чрезвычайек?..

Надо сказать, что, по соглашению верховных органов трех объединений, на Совещании менее всего имелось в виду устроить великий всеобщий ораторский турнир собравшихся идеологов и стратегов мирового социализма. Совещание имело характер съезда тех особых дипломатических делегаций, ищущих не столкновения программ, {208} а хоть какого-нибудь компромисса. В его выработке принимать участие было не нам. После обмена общими заявлениями со стороны лидеров трех Интернационалов — причем Радек и Бухарин блистали резкими и саркастическими выходками, а Вандервельде и Адлер взяли на себя роль «главноуговаривающих» — комиссия, наконец, выработала проект компромисса, к которому делегация Коминтерна присоединилась лишь после запроса телеграммой «самого» Ленина. Заключался он вот в чем:

Совещание приняло к сведению заявление Коминтерна о том, что 1) к процессу 47 социалистов-революционеров (собственно, судилось 12 членов и ближайших агентов Центрального Комитета) будут допущены все, желательные обвиняемым, защитники; 2) вынесение смертного приговора в этом процессе исключено; 3) в качестве слушателей, с правом получения стенографических отчетов всего процесса, допускаются представители всех трех Интернационалов.

На основе воплощения этого компромисса в жизнь предполагались дальнейшие съезды трех Интернационалов, а также создание особого органа вроде общего их бюро и нахождение способов координирования дальнейшей их деятельности в общих интересах социализма.

Рубанович считал это заявление все же огромным шагом вперед. При посредстве совещания трех Интернационалов, давления мирового общественного мнения — «мировой совести», как выражался Рубанович, — жизнь 12 героических членов и агентов ЦК была вырвана из рук палачей. Он не хотел и слышать голоса скептиков, говорящих, что между обещаниями большевиков и их исполнением лежит целая пропасть. «Но если дело может повернуться таким образом, для чего было Коминтерну идти на Берлинское совещание? — аргументировал он. — Торжественное обещание Коминтерна, официально принятое двумя другими Интернационалами, — да разве может оно быть нарушено без ущерба элементарному достоинству, доброму имени и чести тех, чьим именем обещание дано? Есть же какие-то границы, которых не преступит даже большевистский макиавеллизм и иезуитизм!»

Все природное благородство характера, всегда Рубановичу свойственное, бурно протестовало против допущения им самой мысли об обмане... Однако теперь, когда после Берлинского совещания прошли годы, приходится волей-неволей констатировать неумолимые факты:

1. Желательные обвиняемым защитники — все из числа квалифицированных европейских юристов-социалистов — были формально допущены. Но, во-первых, встречены в Москве грубой, озлобленной коммунистической демонстрацией, которой руководил Бухарин, один из авторов компромисса; а во-вторых, защитники с самого начала были поставлены в положение, при котором дальнейшее участие в процессе было бы несовместимо с их достоинством, почему они, {209} при полном одобрении самих подзащитных, вскоре демонстративно покинули Москву.

2. Заявление о том, что вынесение смертных приговоров в процессе исключено, оказалось иезуитски нарушенным. Смертные приговоры были все-таки вынесены всем двенадцати, и лишь выполнение их было отложено на неопределенное время — в зависимости от деятельности партии эсеров. Таким образом, 12 осужденных ее членов ЦК превращались в бессрочных заложников.

3. Ведение некоммунистическими представителями стенограмм процесса не продержалось дольше нескольких заседаний; в дальнейшем полной стенограммы процесса вообще не оказалось и опубликование ее совершенно исключено. Зато даны стенограммы речей бесчисленных казеннокоштных и своекоштных обвинителей...

В дальнейшем мои воспоминания еще коснутся личной судьбы таких героических участников процесса нашего ЦК, как Евгения Ратнер, Михаил Гендельман и Абрам Гоц. Тогда с осязательной ясностью окажется, что даже напор мировой совести не мог заставить когти большевистского правительственного террора разжаться и выпустить раз захваченные жертвы. Как ныне очевидно для всех, на Берлинское совещание большевики пошли лишь для того, чтобы обманчивой видимостью компромисса добиться морально-психологической передышки; и вместо того чтобы поразить мир сразу зрелищем 12-ти виселиц, расправиться со своими пленными «смертниками и заложниками» в розницу, поочередно, исподволь и под «железным занавесом» застенка — занавесом, более двух десятков лет спустя столь же тщательно и долго скрывавшим участь героических заложников за еврейство — Эрлиха и Альтера...

Возвращаясь взволнованной памятью к тем дням, когда, ловя вести о ходе процесса и о его эпилоге, мы вибрировали всеми своими чувствами в такт речам и жестам подсудимых, так высоко поднявших на суде наше партийное знамя, нельзя не вспомнить, как всех нас осенила мысль: если двенадцать русских социалистов нужны как заложники, почему именно эти, а не другие двенадцать? Эти уже достаточно натомились в застенках Лубянки, их здоровье подорвано в корне, их нервная система потрясена — сквозь тюремные решетки,

ограды и запоры проскальзывают вести о росте их болезненности, об обреченности иных из них на скорую смерть. Не стыдно ли, что не раздалось доселе общего крика, стона, вопля: выпустите же их хоть ненадолго для того, чтобы они смогли перевести дух, побывать на вольном воздухе и солнечном свете! Кому же известно лучше вас: они ни в чем не виновны, кроме того, что встали на защиту демократической легальности, когда вы исподтишка напали на нее с оружием в руках. Кто, если не сам ваш Ленин признал, что Россия тех дней была самая свободная в мире страна; и в чьем же ином мозгу, как не в его мозгу больного фанатика, могло из этого сознания родиться чудовищное логическое заключение: «Плохи будем мы, большевики, если такой полнотой {210} свободы не сумеем воспользоваться для подготовки вооруженного переворота и для захвата в свои руки власти!».

Но до чего же более чудовищным будет еще и дополнительное заключение: «А если так, то повинен казни всякий, кто эту свободу будет защищать, а не предаст ее, не оставит своего поста, не дезертирует, не капитулирует, не перебежит в наш лагерь — лагерь захватчиков власти!».

Нет, на правосудие и суд здесь нет и намека; диктатуре были нужны заложники до тех пор, пока не утвердилась ее власть. Пусть же берет нас, которым только чистая случайность не дала сидеть на скамье подсудимых вместе с двенадцатью. Мы готовы: мы даем взамен двенадцати пленных, давно уже брошенных в узилища, двенадцать других таких же авангардных работников партии. Выпустите же их и берите нас. Каждый из нас готов в свою очередь заместить тех, кому выпал тяжкий жребий отвечать за всю партию.

Я роюсь в своей памяти — и не могу вспомнить, кто в нашей среде первый выговорил эти облегчающие нашу партийно-политическую совесть слова. Ясно: они у всех зрели в глубинах сознания и просились на язык. Я сейчас вспоминаю лишь, с каким спокойным и твердым энтузиазмом формулировал их перед иностранными товарищами Рубанович. Идея наша была встречена ими без сочувствия, и мне казалось, не совсем она была понята нашими европейскими товарищами. Но затем она все же была воспринята далеко за пределами нашей партии. Если память мне не изменяет, то первым из заграничных социалистов, трогательно предложившим себя на смену любого из «двенадцати», оказался член бельгийской рабочей партии Вотерс; а уж следом за ним посыпались еще и еще имена - заслуженных общественных работников разных стран, не исключая далекой Америки.

Помню: сами подсудимые переслали нам призывы к самообладанию, к отказу от подобных предложений палачам, способным над ними лишь издеваться. Помню: на самом Берлинском совещании Радек с неслыханным цинизмом предложил: «Устройте освобождение нашего германского товарища Макса Гельца, и мы выпустим вашего больного Тимофеева». «Маэстро шантажа!» — невольно воскликнул, выслушав такое предложение, Рубанович. А у кого-то из нас тут же, на месте, вырвалась реплика: «Торговец человеческими головами!».

Радек знал, конечно, что в предложении его нет ни грана серьезности. Ни Вандервельде, глава II Интернационала, ни Адлер, глава Венского объединения, не были по отношению к Кремлю воюющей стороной, не брали и не держали в своих руках никаких пленников из среды его заграничных агентов. Предложение Радека было не более как издевательским выпадом. И он, и его друг Бухарин, вздумавшие считать Тимофеева заложником за Гельца, — увы и ах! — были бы предусмотрительнее, если бы обзавелись в запас на будущее время какими-нибудь заложниками за самих себя. Но где было им знать, что настанет момент, когда сами они будут посажены вождем собственной партии на скамью подсудимых — и сядут на нее {211} без того морального мужества, которое дало силу нашим «двенадцати» глядеть в глаза судьям с той невозмутимой прямою, которая заставляла их не раз отводить глаза свои в сторону...

Но — мимо всего этого! Если достаточно переволновались за это время мы все, то Рубановичу, при его больном сердце и общем недуге, эти волнения грозили стать смертельными. Не хватало еще одной капли, чтобы чаша была переполнена. И эта капля явилась.

Заграничная делегация с честью выдержала свою миссию — охвата всего цивилизованного мира энергией своей агитации. Выдержала, но на этом и надорвалась. Сломлена была, прежде всего, ее финансовая сила. Не хватило средств продолжать ежедневную газету и пришлось пойти на ее переход в чужие руки, чтобы вернуть хотя бы часть средств, употребленных на ее приобретение. Мы ждали, что откуда-нибудь явится спасающая рука помощи. Мы думали, что заслужили ее. Но такой руки не явилось. Рубанович мечтал до последнего момента где-то найти средства. Не оправдались и его надежды.

Говорят, «победителей не судят». А это иными словами значит — «побежденным не прощается». Пока мы раздували огонь под горном и накаливали до бела острия клинков нашей агитации, перед нашим воображением уже выступали сквозь туман грядущего бледные контуры победы над большевистским палачеством. И вдруг — они оказались лишь контурами привидений! Что же дальше делать? Да только «свернуться», сократить широкий фронт нашей борьбы, отступить на последнюю линию своих укреплений. Упадок духа, обезверенность, уход куда-нибудь в сторону из еще недавно сплоченных рядов — обычный спутник таких «отступлений в беспорядке» и совсем не на «заготовленные ранее позиции». В свои права вступила психология «ликвидационная».

Приходилось собственными руками «разбазаривать» все то, что было приобретено, собрано и сооружено. Спорить оставалось лишь о том, кого предпочесть в качестве навязанных судьбою покупателей и в этом качестве правопреемников. На этом начало трещать единство самой Заграничной делегации. Место «центростремительной» тенденции заняла «центробежная». Но не будем касаться тех печальной памяти «дел и дней». Пусть лучше в них разберутся, когда из нас, их непосредственных участников, никого уже не будет на свете. Пусть тогда «по делам нашим воздастся нам»...

На долю Рубановича не ложится никакой ответственности за неурядицы и смуты тех и следующих годов. Едва он заметил первые зловещие признаки «распада», он потребовал экстренного пленарного заседания Заграничной делегации. Он произнес горячую, взволнованную речь, сплошной и страстный призыв к единству. Но в самом апогее пафоса, оказавшегося током слишком высокого напряжения для минированного болезнью и переутомлением организма, Рубанович вдруг почувствовал как будто недостаток воздуха, начал задыхаться, прерывал свою речь и снова пытался возобновить ее... Его поспешили усадить, дали воды, открыли окна, спешно послали за доктором. {212} Но когда тот пришел, то застал лишь холодеющее тело, покинутое жизнью. Заграничный представитель русской революции и партии, он и умер на заседании Заграничной делегации. «Старая гвардия умирает, но не сдастся!»...

Для вечного успокоения тело его было отправлено в родной ему Париж — туда, куда впервые явился он, лишенный жандармским вмешательством предстоявшей ему кафедры в Одесском университете, чтобы вновь обрести его в храме свободной науки — вечной Сорбонне. Среди нас были люди, еще помнившие — подобно Русанову — Илью Рубановича таким, каким он явился, вырвавшись из рук Стрельникова: статным, двадцатичетырехлетним юношей атлетического вида с энергичным лицом, шапкою черных кудрей и горящими умом и волею темными глазами. На виду у них, год за годом, под растущим грузом лет и жизненных испытаний бороздился озабоченностью лоб, плотнела и тяжелела когда-то столь легкая и статная фигура; но лицо оставалось таким же мужественным и волевым.

«Посмотрите только на эти, упорно не желавшие сесть волосы на его шевелюре и бороде, — говорил нам Русанов. — Не правда ли, каким-то шлемом война окаймляют они этот, вдруг застывший в задумчивой и строгой суровости, облик — облик античного римского воина, умеющего, говоря словами древнего поэта, молить у бессмертных богов одного дара, одного боевого отличия — „скорой и неожиданной смерти“. И вот он ее получил. Бессмертная смерть унесла смертную жизнь». В глубоком волнении сердца наши откликнулись на этот овеянный духом трагического классицизма образ.

На скорбном чествовании первой же годовщины его смерти один из тех, кому пришлось принять на себя частицу тяжести, связанной с ответственностью по заграничному представительству ПСР, должен был, скрепя сердце, признаться:

«Теперь, когда Ильи Адольфовича нет больше в наших рядах, мы на каждом шагу ощущаем его отсутствие, чувствуем, что его нам не хватает»...

Когда я дописывал последние страницы своих воспоминаний, посвященные И. А. Рубановичу, мы получили радующие душу строки от вдовы его, пережившей вместе с детьми в родной им Франции всю оргию немецкой оккупации и облав на еврейского «красного зверя». Мы еще не знаем, как удалось им уцелеть. Но ей попался на глаза номер нашего журнала «За свободу»,* и она шлет нам свою благодарность за то, что мы с неистощимой энергией и верой отстаиваем лозунги, за которые готов был всегда отдать все свои силы и саму жизнь ее муж, «посланник русской революции за границей» Илья Рубанович.

(*«За свободу» — журнал Нью-Йоркской группы партии социалистов-революционеров. Издавался в 1941 — 1944, 1946—1947 гг. в Нью-Йорке, всего вышло 18 номеров, в состав редакции входили Н. Д. Авксентьев, В. М. Зензинов и В. М. Чернов.)